

ПАВЕЛ КРУСАНОВ

\*\*\*

# ФЛАГИ ОСЕНИ



18+

Содержит  
нецензурную  
брань

КНИЖНАЯ  
ПОЛКА  
ВАДИМА  
ЛЕВЕНТАЛЯ



Книжная полка Вадима Левенталя

Павел Крусанов

**Флаги осени**

Издательский дом «Городец»

2022

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6

**Крусанов П. В.**

Флаги осени / П. В. Крусанов — Издательский дом «Городец»,  
2022 — (Книжная полка Вадима Левенталя)

ISBN 978-5-907483-80-4

Одни писатели мыслят рассказами, другие – романами. Павел Крусанов мыслит трилогиями. Читателям уже знакомы «Триада» и «О людях и ангелах». Новая трилогия «Флаги осени» включает в себя романы «Мертвый язык», «Железный пар» и «Яснослышащий». Нетрудно заметить, что все три романа объединяет тема неслышимой музыки, таинственного соотношения жизни и искусства. Но вот как одни и те же темы отражаются в каждом из романов, как разные мотивы из них вступают друг с другом во взаимодействие, как все они начинают звучать единой симфонией – все это обнаруживаешь, только когда читаешь их один за другим.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-907483-80-4

© Крусанов П. В., 2022  
© Издательский дом «Городец», 2022

## Содержание

Мёртвый язык	6
Глава 1. В тени «Незабудки»	6
Глава 2. Сердца четырёх	15
Глава 3. Разговоры	29
Глава 4. Бог театра	37
Глава 5. Душ Ставрогина	49
Глава 6. Разговоры-2	59
Глава 7. Abeunt studia in mores	71
Конец ознакомительного фрагмента.	82

# Павел Васильевич Крусанов

## Флаги осени

© П. Крусанов, 2022

© ИД «Городец», 2022

© П. Лосев, оформление, 2022



# Мёртвый язык

## Глава 1. В тени «Незабудки»

### 1

Если бы не расшитая бисером шапочка-таблетка, полосатые носки и стоптанные кроссовки, молодого человека, уверенно шагающего по солнечной стороне улицы Марата, следовало бы считать совершенно голым. Пушка на бастионе только что отбила субботний полдень, и солнце в решительном соответствии с местом и временем освещало терракотовый тротуар, прилепленный к фасадам домов с нечётными номерами. Воздух с лёгкой подмесью матовых дымов был почти недвижим, оконные стёкла отбрасывали радостные блики, а небо над городом, полное чудесной пустоты, лишённой не то чтобы смыслов, но самой идеи об их поисках, сияло такой пронзительной синью, что, попадая в глаза, делало им больно. Молодой человек шёл от Невского в сторону Семёновского плаца, соблюдая непоколебимое достоинство и смотря на окружающий мир с благородной надменностью, как царь на еврея.

Было довольнолюдно. Прохожие неодобрительно косились на безмятежного мерзавца, иные улыбались, иные демонстративно его не замечали; барышни прыскали в «сименсы» и «нокии», делясь событием с подружками, самые бойкие моргали встроенными в трубки объективами; проезжающие мимо авто то и дело озорно клаксонили. Гражданин, завтракавший у торговой палатки «Теремок» сложным блином в бумажном конвертике, от неожиданности пролил себе на ботинки дымящийся кофе.

Первым, кто по служебной частоте раздёрганного на волокна эфира сообщил о происшествии в милицию, был постовой из стеклянной будки возле дверей генерального консульства Швейцарии. Вторым – постовой, дежуривший у венгерского консульства. Стёкла их будок были густо тонированы, отчего люди на улице казались слегка копчёными.

Молодой человек между тем шёл себе дальше, так что оперативно выехавший из 28-го отдела милиции на бежево-синем «уазике» наряд настиг возмутителя спокойствия только между Свечным и Кузнечным, около магазина «Мясной домъ», куда искушённые гастрономы ездят за бараниной даже с Фонтанки. Задержание прошло без мордобоя – в рабочем порядке, с профессиональными прибаутками, какие милиционеры всегда имеют при себе в достатке, чтобы не казаться друг другу скучными. Улицу Марата наглец преодолел в лучшем случае на треть.

Напротив «Мясного дома», в третьем этаже здания с двойным номером 36–38 (должно быть, в незапамятные времена здание, как увесистый зад, разом покрывший пару стульев, заняло место двух прежних), располагалась мажористая митьковская галерея. Миновав сварную решётку, отделявшую территорию искусства от пыльного мира людской тщеты, по лестнице спускались парень и девушка.

– Смотри-ка, – сказал парень, выходя из парадной на улицу, – черти братушку вяжут.

– Ой, голенький! Как после линьки, – оживилась девушка, член студенческого научного общества при кафедре зоологии Педагогического университета.

Обсуждения события хватило им на одну неторопливо выкуренную у дверей парадной сигарету, после чего парень подумал о том, что стервы бывают очень даже привлекательны, особенно когда молоды и ещё не знают, что они стервы. Эта мысль вытянула за собой другую.

«Великое блаженство, – подумал парень, – и великое зло, как правило, приходят к нам из одного источника».

Спустя десять минут после водворения порядка застеклённый постовой при швейцарском консульстве снова увидел голого человека. Этот был чуть полнее первого, с бледной кожей от плавок на загорелом теле и в сандалиях на босу ногу. Из ушей его свисали провода, а на узком пояске, шлёпая через каждый шаг по тугому бедру, болтался плеер. Злая старушка в фетровом берете с налипшей на нём кошачьей шерстью что-то шипела вслед охальнику, но тот, разумеется, ничего не слышал.

Милицейский «уазик», едва успев разгрузиться в сквере на углу Марата и Звенигородской, где в двухэтажном домике, выкрашенном в ядовито-канареечный цвет, размещался 28-й отдел милиции Центрального района, тут же выехал по новому сигналу – недра упаковки сотрясал, настораживая прохожих, раскатистый неуставной хохот. Что ж, на фоне постылых криминальных будней дело и впрямь выглядело весёлым.

– Может, в Невских банях пожар? – предположил мордатый шофёр с сержантскими лычками.

Сослуживцы встретили версию дружным смехом.

Второго нарушителя общественной нравственности, в голове которого звенела неведомая музыка, задержали у обувного магазина «Докерс». Как и первый, он не предпринял ни малейшей попытки к бегству. Злоумышленнику ловко завернули ласты и щадящим пинком посадили в задок весёлого «уазика».

Парень и девушка, не успевшие дойти даже до Свечного, с интересом наблюдали явление с противоположной стороны улицы Марата. Ясное дело – в течение десяти минут встретить в городской толпе двух голых людей доводится не каждый день, а значительно реже. Практически никогда. Поговорив немного о том, в каком режиме следует повторяться случайности, чтобы она обрела статус закономерности (девушка щедро пересыпала свою речь доводами биологической науки), парочка свернула на Свечной и двинулась в сторону узорчатой решётки садика Сан-Галли – там, в глубине, за деревьями и детской площадкой, гремел битами неслышный отсюда городошный турнир. Глядя на влажные губы спутницы, парень подумал, что счастье заключено вовсе не в исполнении желаний, как считают одни, и не в их смирении, как считают другие, а в самом их наличии.

Третий сигнал ни у кого из дежурного состава милицейского участка приступа остроумия уже не вызвал. Забрав очередного злодея (тоже в сандалиях, хотя и без проводов в ушах; зато на носу – круглые солнцезащитные очки с синими стёклами) возле ИНЖЭКОНа, где его, стыдливо прикрывая рот ладонками, с неодолимым любопытством разглядывали абитуриентки и вышедший покурить охранник музея Ф. М. Достоевского (его сегодня в семь тридцать утра внутренний голос предупредил о вероятном событии и не обманул), наряд на всякий случай заехал в Невские бани. Языки пламени не рвались из окон, хлопья гари не носились в воздухе, клубы дыма не застили небо, голый люд, пряча срам за шайками, не толпился у входа. Бани были давно и тихо закрыты на переустройство – как бражник в куколке, внутри ветшающего здания вызревал новый торговый центр с пёстрыми крылышками от кутюр.

Неподалёку, правда, ещё располагались Ямские бани...

Обернувшись от заколоченных дверей к улице, блюстители закона первым делом увидели идущего мимо палатки «Теремок», где правила вечная масленица, голого человека, на голове которого, глубоко надвинутая на глаза, сидела форменная милицейская фуражка. Это было уже слишком.

В обезьяннике, оказавшись в компании четырёх обнажённых мужчин, присмирел даже буйный поначалу пропойца, пристававший на Семёновском плацу к гуляющим с колясками

молодым мамам. «Нет такого закона, чтобы не приставать! – бился он ещё недавно грудью в решётку обезьянника. – До вечера можно где хочешь приставать! Я даже на Невском пристаю!» Теперь он тихо сидел в углу и обиженно сопел в две дырочки. Но что алкаш – рядовой случай, другое дело остальные заточённые – они, как назло, оказались совершенно трезвы, и что с ними делать, было решительно неясно. Для одного ещё, пожалуй, можно было бы вызвать санитаров, но на такую шоблу... Это пахло пандемией. По большому счёту, их нечем было даже прикрыть.

Парень с девушкой в это время стояли у провололочной сетки, ограждавшей городошную площадку в зелёном садике Сан-Галли, и смотрели, как весело разлетаются рюхи под меткими бросками игроков. Отгоняя ладонью обнаглевшего в тени столетних тополей и лип звенящего вампира, парень подумал, что комары и слепни только для того и существуют, чтобы напоминать нам, что мы не в раю. Девушка тихонько напевала:

Насладиться – мёду нет,  
Исцелиться – йоду нет,  
Отравиться – яду нет...

«Тяжело на свете бедному Юсупке», – на свой лад мысленно закончил куплет парень.

Пятого наглеца взяли возле Ямского рынка, где он произвёл переполох среди высыпавших на крытую уличную галерею кавказских и туркестанских фруктово-овощных коммерсантов. Черноглазые женщины, не то от негодования, не то от восторга, но точно не от смущения, резко вскидывали руки и гортанно вскрикивали, джигиты с бабаями, почёсывая в паху и задирая небритые подбородки, бесцеремонно хохотали. Голый, однако, ничуть не смутился. Напротив, демонстрируя силу русского духа, он повернулся к зрителям задом, согнулся и произвёл звучный выстрел из своей природной пневмопушки. Поражённые раблезианским жестом, торговцы позабыли государственный язык и горячо залопотали разом на десятке племенных наречий.

На этот раз милиционеры были откровенно раздражены. Рыночных व्यюнов они недолюбливали и при встрече всякий раз говорили им с имперским цинизмом: «Здорово, чёрные», – поэтому в «уазик» заталкивали артиллериста подчёркнуто корректно. Однако прежде чем захлопнуть дверь задка, усатый старшина не удержался и в сердцах всё же засветил стрелку табельной резиновой дурой по рёбрам.

Между тем, отделённый от этих событий непрозраемым пространством сада и двух городских кварталов, парень уже отвёл девушку в сторону от городошной площадки, обнял её и, сдув с девичьего лица сбившуюся русую прядку, поймал губами её губы. Девушка не сопротивлялась. Липа над ними, сверкая и лоснясь яркой зеленью, имела такой вид, будто её только что выдумали.

Когда поступило сообщение о следующем происшествии (на этот раз – две голые девицы с одним далматинцем на поводке), факт вероломного заговора уже не вызывал сомнения ни в сержантском, ни в старшинском, ни в офицерском звене. Участок охватила лёгкая паника, и начальник отдела поспешил доложить о сложившейся оперативной обстановке в главк.

– Что за хрень, подполковник?! – дала раздражённую отповедь трубка. – Одни бандитов ловят, а другие сопли глотают, булки мнут и лапки воробьям выкручивают! Это что за стриптиз, понимаешь?! У вас там Африка, чтобы голыми гулять?! Развели бордель! Дефиле беспорточное! Наведи порядок, подполковник, и чтоб я больше о твоих голожопых не слышал!

Начальник отдела отпрянул от трубки, как от брызнувшей крови. С этой минуты он стал смотреть на поразившую его участок заразу сквозь сжатые зубы, словно злой подросток. Спустившись из кабинета в приёмную часть, он так надвинул нарушителю в фуражке околыш на



уши, что те, распухнув и налившись пунцовым соком, вяло обвисли у мерзавца по бокам лица. Однако это был всего лишь жест отчаяния – подполковник выпускал пар. «Был бы дубом, – грустно подумал начальник отдела, уже сожалея о рукоприкладстве, – спал бы сладко, жил бы долго, был бы крепким...» Он знал, что от стыдных воспоминаний люди начинают разговаривать сами с собой вслух, и не хотел на старости лет прослыть олухом. Тем не менее защита пошатнувшихся устоев определённо требовала твёрдой руки.

Подчинённым был отдан приказ действовать жёстко – давить крамолу, как вошь на грёбешке... Но что они могли поделать? Голые продолжали неумолимо идти по улице Марата, как майская корюшка идёт Невой на икромет. Работа 28-го отдела милиции была парализована настолько, что в четырнадцать часов двадцать семь минут одиннадцатый по счёту негодяй, шею которого украшала трудоёмко накрученная арафатка, дошёл до Семёновского плаца беспрепятственно. После этого парад голых разом прекратился, а к участку подъехал микроавтобус со съёмочной бригадой новостей канала «100 ТВ» и старенькая «мерседес», в багажнике которой лежали две сумки, туго набитые одеждой задержанных.

Обрадовавшись долгожданному (казалось, это никогда уже не кончится) завершению кошмара, подполковник не стал вдаваться в детали идейного содержания акции, о котором бойко вещала в микрофон бесстыжая молодёжь, – под прицелом телекамеры он велел выписать всем смутьянам предупреждение об административном правонарушении и гнать из участка в три шеи, поганой метлой, на все четыре стороны... Что и было прилежно подчинёнными исполнено.

Вечером того же дня, приятно нагруженный впечатлениями от накрашенных холстов, городского турнира и зоологически подкованной девушки (её звали Настя), чей язык во время затяжного поцелуя шуровал у него во рту, как язык муравьеда в термитнике, парень (его звали Егор) смотрел по телевизору в новостной программе репортаж об эксцентричной гражданской акции в защиту Семёновского плаца от грозящей ему уплотнительной застройки. Показали задержанных милицией голых людей, говорящих отважные речи (поскольку оператор был мужчиной, в кадре по преимуществу мелькали голые девицы с далматинцем), после чего последовал пространный комментарий гладко причёсанной телекорреспондентши.

– Когда Санкт-Петербургу вернули его имя, город Ленинград стал медленно и неотвратимо таять, – с холодным обаянием сообщила корреспондентша. – А между тем в обыденной материальной культуре нашего города советских времён было много своеобразного, печального очарования. Эти пышечные, пирожковые, пельменные... эти пивные ларьки, магазины старой книги, дворцы и дома культуры, под завязку набитые всевозможными кружками и театральной самодеятельностью... – Пирожковых, ларьков и кружков Егор, по причине возраста, помнить никак не мог, однако, частично являясь свидетелем освещаемых событий, слушал комментарий внимательно. – Всё это уходит в никуда. Дворец культуры Первой пятилетки, нашу «пятилеточку», как ласково называли её многие, детьми ходившие туда в кружки и смотревшие там выступления чудесного «Комик-треста», снесли. Пирожковая на углу Литейного и Белинского, где не одно поколение студентов уплетало вкусные и дешёвые пирожки, закрыта. Столь же славная пирожковая на углу Садовой и Гороховой – тоже. Закрыт знаменитый «Букинист» на Литейном – приют добродушных маньяков-библиофилов. Закрыт «Сайгон». Закрыт пивбар «Висла». Опустели витрины «Художественных промыслов» на Невском... А сейчас, вслед за Ленинградом, тает и сам Петербург. Напротив собора Владимирской иконы Божьей Матери возвели в московско-вавилонском стиле зеркальное аляповатое чудовище с ротондой на крыше. Нет половины скверов, где мы гуляли в детстве, а оставшаяся половина трепещет и ждёт неминуемой участи: из каждого сантиметра исторического центра будет выжата прибыль. На глазах исчезает наша родина, наша память, наша жизнь. Казалось бы, о чём грустить? Всё так прекрасно! Сияют витрины дорогих бутиков, бурно размножаются сетевые магазины-мон-

стры... Всё как у всех, всё как у больших. По мнению администрации – очень мило и европно. Это главная идея сегодняшних властей Петербурга – чтобы было европно. Но были ли эти люди вообще в Европе? Видели они маленькие магазинчики и лавочки, которым по двести-триста лет? Прикасались к вековым деревьям в центре столиц? Ступали по камням, покой которых никто не смеет нарушить? Городская среда Петербурга изменяется только в одном направлении – к худшему, и изменяется не каждый день, а каждую минуту. Вот сейчас, пока идёт наша передача, где-то срубают дерево, закрывают магазин, застраивают какой-нибудь милый уголок непарадного, трогательного пейзажа. Ужасное дело: потерять родину, не покидая родины... Но сегодня гражданское общество выходит из спячки. Административная идея сноса ТЮЗа и застройки Семёновского плаца ресторанами и доходными высотками вызвала бурный протест горожан – несогласие с решением Законодательного собрания явилось причиной и сегодняшнего экстравагантного шествия. Мы понимаем этих людей – они не хотят оставаться безучастными к судьбе родного города. Но что они могут сделать, если к их мнению администрация никогда не прислушивалась и не намерена прислушиваться впредь? Возможно, сегодняшняя акция-эксцесс заставит задуматься депутатов ЗАКСа и алчных чиновников о судьбе города, в котором они ведут себя как варвары-завоеватели. Да, в Ленинграде, конечно, было плохое, ненужное, вредное, пошлое, но было и хорошее, ценное, поэтическое... По давнему обычаю уничтожают именно хорошее. Спешите, господа! Приезжайте, срочно приезжайте в наш город – особенно если вы когда-то были молоды, влюблены и при первой возможности бежали в Ленинград проветриться на его балтийском сквозняке. Город вашей памяти исчезает.

Егору комментарий понравился – он не знал, что телевизионная женщина просто с собственными вариациями пересказала недавно прочитанную в «Elle» статью публицистки Москвиной. Знай он об этом, комментарий ему всё равно бы понравился, но его признательность за выбор подходящих слов была бы адресована другому человеку.

## 2

В действительности возмущение административными планами истребления Семёновского плаца послужило лишь удобным прикрытием дерзкого демарша. Цель его была совсем, совсем иной...

Идея принадлежала Роме Ермакову – человеку из породы вечно молодых людей, лишённых склонности к определённому роду занятий. Некогда, после трёх курсов университета и двух лет армии, в качестве божественного персонажа он подвизался в «Галерее-103», благоденствовавшей в шальные времена перемен на приснопамятной Пушкинской, 10, потом какое-то время мотался по свету, потом вернулся, пописывал что-то в матовый журнал «Красный», пока тот не обанкротился, потом работал рецензентом-ридером в одном помойном издательстве, а в качестве приработка криминально приторговывал для узкого круга знакомых травкой. Исключительно в силу неброской, но изысканной аллитерации, заключённой в его имени и фамилии, товарищи звали Рому Ермакова Тарарам. Именно он, Рома Тарарам, в расшитой бисером шапочке на голове первым вышел сегодня голым на панель улицы Марата.

Сейчас Тарарам зарабатывал себе на чай с карамелькой тем, что служил посыльным в цветочном тресте «Незабудка», – Рому сразу прельстило это место, поскольку он был твёрдо уверен: добрых вестников не убивают, а наоборот – могут даже налить. Именно в тресте «Незабудка», где, ожидая в похожем на оранжерею торговом зале, когда флорист изобретёт букет, заказанный для доставки по очередному адресу, Тарарам вдыхал ароматы роз, благоухания хризантем, зелёный запах гиацинтов, гвоздик и тюльпанов, а также душистые аккорды сонма других цветов, названия которых были Роме не известны, в голову ему пришло соображение весьма необычного свойства.

Рому уже давно тяготило скверное состояние мира, которое почти полвека назад было описано ситуационистом Ги Дебором как презренное общество зрелища, общество спектакля. Он чувствовал себя чужим в обывательской вселенной маленьких людей, эврименов, добровольно, за чечевичную похлёбку в виде пресловутого «голубого экрана», отказавшихся от реальности в пользу сфабрикованного массмедиа постоянно действующего миража. Роме было неприятно видеть, как чувства этих людей заменялись имитациями чувств, рассудок – механическим повторением клишированных истин, мечты и стремления – симуляцией подлинных желаний, спровоцированной гипнотическими средствами медийного арсенала. Оглядываясь вокруг, Тарарам с каждым разом всё острее сознавал, насколько непреодолимо плоскость наэлектризованного, притягивающего пыль стекла отделила людей друг от друга, отделила от осязаемых вещей, родных просторов, стадионов, улиц, событий, приключений, властей – от всего, что происходит по ту сторону экрана. Получалось, что у человека как-то незаметно, исподволь, украли действительность, заперев её в застеклённый ящик.

Тарарам был твёрдо уверен: как отдых не является работой, так зрелище не является жизнью. Из этой незамысловатой истины неумолимо следовал категоричный вывод: современное общество («бублимир», как называл его Рома – проедаемый мир-бублик, сверхнасушным достоинством которого является именно дырка, холодное ничто, но дырка приукрашенная, дырка-экран, всё время расцвеченная какой-нибудь очередной иллюзией; то, что это именно пустота, небытие, а не концентрация жизни, становится понятно, когда человек в эту дыру прогрызается) – это общество отрицания жизни. Но не через испытание, очищение, самоотвержение и смерть в жизнь вечную, а через какой-то липкий, навязчивый, обволакивающий сон наяву. Своеобразная версия «Матрицы»... Стоило бегло посмотреть по сторонам, чтобы тут же убедиться: теперь человек по большей части не живёт, не работает и не отдыхает, а только смотрит, как живут, работают и отдыхают в телевизоре (дырке бублика) другие. Однако довольно было сменить беглый взгляд на более внимательный, чтобы сразу выяснилось, что и это не так – те, в телевизоре, на самом деле тоже не живут и не отдыхают, они лишь старательно симулируют то и другое, безотчётно, не щадя сил тянут незримую бурлацкую лямку, протаскивая в опустошённую явь какую-то тотальную, всепоглощающую иллюзию. Рому поражала эта фантастическая картина будней.

В студенческие годы Тарарам почитывал труды Эриха Фромма, который, ловко микшируя Маркса и Фрейда, описывал суть буржуазного миропорядка как переход бытия в обладание. Тогда уже Рома чётко осознал, что роковой шекспировский вопрос «быть или не быть» страшно устарел для мира, в котором ему выпало родиться, поскольку по своей постановке он являлся вопросом трансцендентальным, выходящим за рамки доступного опыта, вопросом, вызванным трагическим сомнением в собственных силах, в готовности и возможности осуществить возложенную на человека свыше миссию. Это был вопрос гордого и мятущегося духа, на него отваживались избранные, лично ответственные за ход истории перед лицом бытия. Главный выбор буржуазного общества, общества, соблазнённого вульгарной/продажной свободой (свобода, как и любовь, бывает Уранией и Пандемос) и одурманенного пьянящей властью капитала, Фромм сформулировал иначе: «быть или иметь». Возможность не быть ушла за скобки, поскольку теперь человечество паслось на поле сугубо материальной определённости. В этой дилемме быть – значило стремиться изнутри вовне, значило отдавать, дарить, расточать, как светило, как божество, как мужчина. Вернер Зомбарт, которого Рома тоже почитывал в студенческую пору, называл такой выбор «путём героя». В свою очередь, иметь – значило стремиться извне вовнутрь, значило брать, копить, присваивать, красть, как прохвост, как деляга, как посредственность, как срань Господня. Этот путь Зомбарт называл «путём торгашей».

Буржуазный мир держится на торжестве корыстного иметь. Однако в бублимире, в новом мире заэкранной реальности исчезает даже оно, это сквалыжное иметь – здесь всё покрывает туман неуловимой мнимости. Рома исподволь сознавал, что в подсунутом эврименам мираже

речь теперь идёт не о накоплении и присвоении, а лишь о любовании уже накопленным и присвоенным, – но не вами, господа, всегда не вами, а каким-то неопределённым призрачным субъектом, с которым каждому следует стремиться себя отождествить. Непременно следует. И это навсегда, потому что, как ни стремись, тождество недостижимо. Таково необходимое условие наведённого морока – новоявленного общества потребления иллюзий. В бублимире человек изо дня в день обречён смотреть бесконечный сериал об обладании, потребляя уже не вещи, но их визуальные имитации – эталонные образы, имиджи, рекламные химеры... Тут обретали смысл даже бессмысленные в иных обстоятельствах сентенции вроде «жизнь прекрасна» или «жить хорошо» – ведь жизнь на самом деле превратилась в эрзац подлинной жизни, подделку, точно так же нуждающуюся в рекламе, как лак для волос, выдерживающий торнадо, или напиток «Фиеста», вызывающий приступ немотивированного смеха.

Рома не хотел погружаться в мираж, предъявленный дыркой бублика, в эту источающую наркотические миазмы трясину, он хотел пройти по жизни путём героя. Как ему казалось, он не то чтобы имел в своём характере необходимые для исполнения подобной миссии черты, но попросту был для этого пути рождён. Причём его совершенно не устраивала роль героя на экране. Он хотел быть героем помимо экрана, вне его – быть героем похищенной и вновь обрётённой реальности.

Вместе с тем Тарарам понимал, что в зависимость от массмедиа попал сейчас не только пресловутый эвримен, но и его пыжащийся оппонент – противостоящий маленькому человеку в рамках всё того же общества спектакля человек элиты. Ведь сегодня и ему удаётся приобрести авторитет и вес лишь в том случае, если он становится персонажем застеклённого вертепа – телеведущим, гостем программы, действующим лицом репортажа – или каким-то иным способом попадает в ту самую треклятую телевизионную картинку, которая теперь единственно и обладает статусом действительности. Такой путь Рому категорически не устраивал – это была игра по правилам отвергаемого им мира.

Какой же следовало стать стезе героя, кроме того, что по определению это должна быть стезя нестяжания? Вплоть до нестяжания иллюзий. Рома мучительно над этим думал. Собственно, всю его жизнь, за исключением редких позорных моментов, когда он подростком крал у родителей мелкие деньги, плюс несколько других, более поздних эпизодов, вполне можно было считать образцом нестяжания. Но Тарарам понимал, что этого явно недостаточно – траектории его пути не хватает дерзости, не хватает сверхзадачи и безудержности порыва. В свои тридцать восемь Рома остро осознал, что с этим надо кончать.

На первый взгляд несоответствие его нрава собственным тайным притязаниям было налицо, однако в данном случае доверять первому впечатлению как раз не стоило – при ближайшем рассмотрении несоответствие оказывалось ложным. Те люди (паладины художественного жеста), в среде которых Рома некогда вращался, сам будучи частью той среды, имели столь могучий потенциал неброского бесстрашия, столь мощную веру, что жизнь принадлежит им и только им, что в своё время, окрылённые идеей ковчега свободного искусства, смогли вытеснить из облюбованного сквота на Чайковского (НЧ/ВЧ), а потом и из сквота на Пушкинской, 10 и воровские малины, и наркоманские притоны, и пахнущие камамбером бомжатники. В жизни правит непреложный закон: кто сыт – тот гибнет. Богема не боялась городского дна, потому что ей нечего было терять, кроме неосуществлённых замыслов и неизведанных соблазнов, – у неё не было даже цепей. Ни галерных, ни золотых пацанских. Поэтому эти люди побеждали. Братство давно распалось – одни ушли в коммерцию, другие спились, сторчались или просто дали дуба, третьи, не найдя себе места в остывающем универсуме, впали в спасительную полуспячку. Тарарам был из последних, он по-прежнему нёс в себе тлеющие угли всепожирательного бесстрашия, которым утихший вихрь общественных метаморфоз просто не позволял разгореться. Стало быть, надо раздуть их самому. Эта нужда и томила.

Итак, для выправления личной судьбы следовало выяснить, насколько устойчив окружающий мир, каков ресурс его защиты против таких, как он, Рома Тарарам, инсургентов, в силу неведомых причин не вписавшихся в программу. В торговом зале «Незабудки», глядя на благоухающую флору, Тарарам подумал, что пробным камнем, брошенным в огород системы соблазна, могло бы послужить протестное движение, выступающее, скажем, под лозунгом «Вегетарианцы! Прекратите геноцид растительного мира!», однако эта мысль была им отвергнута как недостаточно разящая. Следующая идея, толчком к которой послужил висящий на стене за развесистым фикусом календарь с физиономией Аршавина, заключалась в формировании боевой скотозащитной организации, выступающей (возможно, в союзе с ненавистницей пушнины Бриджит Бардо) за бойкот и запрет футбола, поскольку лучшие футбольные мячи, как известно, шьются из каракуля, пусть и мехом внутрь. Но этот проект требовал внедрения в информационное поле той самой системы соблазна, которая, собственно, и вызывала тошноту. Уж если картинка в дырке неизбежна, то терпеть её следует лишь в форме побочного результата, неминуемого, но ничтожного следствия, которым вполне можно пренебречь, а никак не в качестве средства для достижения цели.

Несколько следующих идей при их критическом рассмотрении оказались столь же уязвимыми.

Однако стоило только какой-то тихо журчащей в торговом зале FM-станции завести былинную «Come Together», как мысли Тарарама перестроились в новый порядок, и к концу второго куплета в его голове сложилась стройная концепция грядущего происшествия. Ресурсу прочности системы предстояло забавное испытание, причём подготовка операции практически не требовала бутафории (ровно наоборот) и иных материальных затрат. Когда-то в детстве/юности у Ромы был виниловый диск «Abbey Road», первая дорожка которого как раз и пульсировала сейчас тугими басами в эфире. Звуковой ряд невольно выудил из Роминой памяти картинку: ливерпульская четвёрка, упакованная в приличные костюмы, переходит по «зебре» улицу – вероятно, ту самую Монастырскую дорогу, где располагалась студия «Apple», иначе с какой стати шлепать эту фотку на конверт пластинки? Один из музыкантов был бос – кажется, сэр Маккартни. Развив в воображении дерзкий замысел, Тарарам получил то, что искал – тест, провоцирующий локальный сбой в программе бублимира.

Добровольцев в количестве четырнадцати человек Рома завербовал из той самой среды, которая некогда была сгущена на Пушкинской, 10, – в нынешние времена она пребывала в рассеянии, но по-прежнему не жаждала покоя, а искала неприятностей. Кто-то был обольщён возможностью участия в весёлой концептуальной акции, кто-то – отвоёвыванием потерянных позиций в информационном пространстве (обещано было телевидение – не все разделяли Ромины убеждения, да он их и не афишировал), кому-то не требовалось никакого мотива, а довольно было природного озорства и бескорыстной любви к искусству. Истинных целей Рома не раскрывал (протестное содержание акции, как уже было сказано, служило лишь прикрытием, обеспечивающим относительную безопасность участникам шествия): формальная задача состояла в следующем – кто-то должен был осилить путь от квартиры Ромы на Стремянной улице до Семёновского плаца. Идти с тупым упорством следовало лишь одним маршрутом – самым откровенным, по улице Марата. Как только кому-то удастся преодолеть весь путь до конца, представление сворачивалось. Далее в дело вступали новости канала «100 ТВ», и девушка Даша – отменный художник-график, известный в приближённых к искусству кругах тонкой работы офортами и небольшой обувной коробкой ловко сработанных на спор фальшивых денег – подвозила на своей тёртой «мерседес» одежду и паспорта повязанным участникам парада. Всё.

Утвердившись в намерениях, Тарарам некоторое время учился ходить голым. Это оказалось непросто – Рома был в квартире один, доверив роль экзаменаторов зеркалам, беспристрастно, не внушая смущения возвращавшим ему собственный образ, и всё равно голым

он ходил плохо. То есть он думал о том, как ходит, и поэтому шёл нехорошо – напряжённо, недобро кидая по сторонам взгляды, словно в поисках вызова, насмешки, понимая, что что-то с ним не так, как-то не так он выбрасывает шаг, слишком скованно от излишнего старания, слишком он резок в движениях своего усердствующего тела, думающего, как ему надо идти, вместо того, чтобы идти свободно, как ходит сильный и спокойный зверь. Что-то мешало, кто-то чужой сидел и толкался в Роминой груди, как больное сердце.

Когда он надел на голову расшитую бисером шапочку (давний подарок приятеля, съездившего по случаю в Непал), стало легче – шапочка оттянула на себя часть воображаемого зрительского внимания.

А потом Рома забыл, просто забыл, увлечённый какой-то посторонней мыслью о давно не стиранных занавесках, что он голый, и внезапно всё сладилося.

Он опасался, что на людях ему не удастся повторить этот трюк с памятью, не получится выгнать из себя чужого, и дефиле выйдет жалким, однако всё произошло ровно наоборот – на улице его охватила какая-то победительная беспечность, невесомое дурашливое вдохновение, рассеявшее невольную скованность и позволившее ему пройти до «Мясного дома», где его настигли менты, упруго, легко и с несомненным достоинством, совладать с которым не мог даже вредный старикашка с каплей на носу и губой-сковородником, плеснувший, но не попавший в него из окна чаем...

Остальное известно. Система запнулась и дала сбой на одиннадцатом придурке. Вывод, который Тарарам сделал из проведённого в полевых условиях опыта, несмотря на свою кажущуюся очевидность, поразил его зияющей глубиной: при равных прочих, побеждают маньяки.

## Глава 2. Сердца четырёх

### 1

Хранить фломастеры в холодильнике Егора приучил отец, который был уверен, что вещь, доверенная холодильнику, делается бессмертной. Отец ушёл из семьи (от жены) семь лет назад, чтобы перейти в новую семью (к новой жене), из которой впоследствии он уйти уже не решился, потому что с возрастом менять старую жизнь на новую любовь становится сложнее. Егор не осуждал отца и даже по-своему дорожил им за то, что тот не был порождением материнской фантазии – беззаветным полярником, вечным геологом, первооткрывателем неведомых островов, смотрителем вулканов, спасателем амурских тигров, добытчиком подземных изумрудов, – а был обыкновенным человеком, рядовым инженером Водоканала – возможно, слишком внушаемым и гуттаперчевым, но определённо своим, тёплым и кровным. Каждый год в родительскую субботу отец с сыном ездили на Серафимовское кладбище к дедам и бабкам, но в последнее время, если по чести, Егор всё больше использовал этого, теперь в определённом смысле постороннего, человека лишь в качестве лёгкого источника для небольших карманных денег. Чего немного стыдился. В невероятные свойства холодильника Егор, разумеется, не верил, считая отцовские домыслы чудачеством. Однако в силу сложившейся привычки делал так, как было заведено в детстве.

В кухне на столе, в широком кратере фруктовой вазы лежал румяный нектарин – плешивый персик, а на стене, уже порядком подщипанная, висела связка белого узбекского лука. Эти луковицы отличались необычайной твёрдостью: ими можно было смело заряжать небольшую мортиру, не будь они таким жгучими – от них сам собой воспламенялся порох.

Выудив из отделения на внутренней стороне дверцы холодильника набор цветных фломастеров, упакованных в прозрачный пластиковый конверт на кнопке, Егор вернулся в комнату. При поддержке интернета и подручной справочной литературы он собирался произвести ряд вычислений, с помощью которых, в случае удачи, намеревался вскрыть одну из потаённых исторических закономерностей, а заодно удивить мир дерзкой пытливостью ума, широтой интересов и глубиной одарённости. Промежуточные результаты изысканий следовало представить в виде сводной таблицы – цветные фломастеры были нужны для наглядности.

За окном немилосердно жарило июньское солнце. При этом чистой была лишь восточная половина неба, западную же всё гуще и гуще затягивали тугие, тяжёлые облака, в которых тихонько рокотал гром – так, будто ворочался во сне. Всю неделю в городе стояла душная жара, уморившая даже одуванчики на газонах, давно пора было залить это пекло небесным водам.

Через час на листе бумаги, как сосульки – верхушкой вниз, выросли двенадцать столбиков: розовый – Аменемхетиды, серый – Аменофисиды, фиолетовый – Меровинги, жёлтый – Тан, синий – Каролинги, зелёный – Капетинги, коричневый – Мин, красный – Валуа, голубой – Стюарты, светло-коричневый – Бурбоны, салатный – Романовы, чёрный – Габсбурги. На Габсбургах арсенал цветов иссяк, так что Цинскую династию и ныне правящую японскую, наименования которой Егор к своему стыду не знал (но непременно бы узнал, будь набор из холодильника богаче), изобразить уже было нечем. В итоге несложных арифметических выкладок сошлись только два обстоятельства: Меровинги, считая династию от легендарного отпрыска морской богини, правили государством франков триста четыре года, пока Пипин Короткий не спихнул последнего из них с престола, – ровно столько же, сколько царили в России Романовы. Остальные династии держались в диапазоне от приблизительно ста пятидесяти девяти до примерно шестисот тридцати шести лет. Однако в целом, по средним показателям (если отсечь крайности), прослеживалось определённое стремление к словно бы намагниченным трём сот-

ням – одни не дотянули, другие проскочили, но если сложить и поделить... Сведения о XII и XVIII династиях по существу не стоило брать в расчёт – много спорных датировок, да и трактовки самой древнеегипетской хронологии, как показал сетевой поиск, в среде египтологов были весьма разнообразны. С остальными – тоже не просто. Да вот хотя бы: откуда вести счёт – с рождения основоположника или с его вступления на трон? А где заканчивать? Вопросы раскачивались в голове Егора, как еловые лапы на долгом ветру. Тем не менее он снова вывел на экран компа калькулятор. К фиолетовым цифрам 304 он последовательно прибавил жёлтые 289, синие 236, зелёные 341, коричневые 276, красные 261, голубые 333... Досчитать Егор не успел – мобилка запела «Славься, славься...».

– Привет, – сказала трубка Настиным голосом. – Дома?

– Дома.

– Сейчас перезвоню на железяку.

Егор едва успел дойти до гостиной, как ожил городской телефон.

– Голого на Марата помнишь? – спросила Настя. – Первого, в шапочке?

– Ну? – сказал Егор.

– Мы сегодня генетику сдавали. Потом с Катенькой в «Zoom» зашли – отметить, а там этот, в шапочке, сидит.

– Голый?

– Ну да. То есть нет, сегодня одетый. Народу много, ну мы к нему за столик и сели. А он давай нас клеить – прикольный такой. Я говорю, это у вас секта, что ли, специальная – «долой стыд»? То голыми по улице гуляете, то скромных девушек за коленки трогаете...

– Он тебя что, за коленки трогал? – Настин голос волновал Егора необычайно.

– Это так, к слову. Хотя Катеньку, кажется, трогал. Не важно. Он довольный такой, что я его узнала, говорит, он – не секта, он – рыцарь бескорыстия. Мы ведь, говорит, по большей части любим то, что сделано не для наживы – музыку, там, правильную, книги с человеческим лицом, женщин не за деньги, а упыри медийные вещают, что всё должно быть ровно наоборот. И если ты, мол, не такой, фастфуд не трескаешь и от «Блестящих» не заводись, то вся твоя жизнь – мимо кассы. Ничего себе парниша, забавный. И погремуха смешная – Тарарам. Катенька повелась – телефон дала.

Егор почему-то был уверен, что Настя тоже дала соседу по столику номер своей мобилки. Что делать – стоит доверительно сказать этим бестиям пару ничего не значащих слов, как они, вместо того чтобы фыркнуть и отвернуться, с радостью впускают тебя в свою жизнь. Женщины любят ушами, а мужчины – чем Бог послал... Завтра Егору надо было сдавать экзамен суровому античнику (он учился на историческом в большом университете), но готовиться, понятное дело, не хотелось, так что он был рад любому поводу отвлечься. Часы показывали половину третьего. Мать приходила домой в шесть.

– Какие планы? – поинтересовался Егор.

– Да вот, зашла домой переобуться. Трамвайный хам мне босоножку отдал.

«Сколько приключений в один день выпадает на долю хорошеньких девушек...» – подумал Егор и спохватился:

– Приезжай ко мне, глупостями займёмся.

– Это, типа, «Наше радио», программа «Невтерпёж» – замани с утра подружку в койку. Так бы и сказал: ты, Настенька, в прямом эфире...

– Какое «Наше радио»? Ты же сама позвонила.

– Верно, – согласилась Настя. – Всё равно не ожидала. Вот ведь, какой ты испорченный. Не знаешь разве, как за девушкой ухаживают? Ей нужно сначала стихи почитать, потом угостить вином...



– Почему испорченный? – надулся Егор. – Глупости восстанавливают кислотно-щелочной баланс, поднимают тонус, предотвращают кариес и разглаживают морщины на девяносто процентов. Глупости заботятся о нас.

Трубка ответила оглушительной паузой.

– Ладно, – наконец уступила Настя. – Уговорил. И где ты только слова такие берёшь... липучие.

«Удивительное дело, – подумал Егор, – никакой психологии... Врут, что ли, классики про тургеневских девушек?» Он был не прав. По крайней мере, насчёт психологии. Три года назад, шестнадцатилетним школьником, когда он последний раз проводил лето на съёмной даче под Лугой, его пленила одна волоокая юница, тоже дачница. Егор скакал вокруг неё петушком, но та оставалась холодной, как медуза. Соседка, деревенская баба, видя его страдания, сказала заветные слова: «Не гляди, что она нос воротит – мол, не хочу тебя. Девка она ещё не целованная, не пробовала никого. Ты напористей будь. У них, у девок-то, как? Кого они попробуют, того им и захочется». Но Егор уже не помнил этих слов. Да и как ему было тогда довериться той бабе? Что она могла понимать? Она была уже не молода, лет тридцати пяти, она была почти мёртвой.

Цветные подсчёты так и остались незавершёнными. Фломастеры отправились обратно в холодильник.

## 2

Насте часто снился один и тот же сон, будто она бежит во весь дух, то ли догоняя кого-то, то ли от кого-то убегая, но пространство сна вокруг густеет, сопротивляется, и ей, чтобы хоть немного продвинуться вперёд, уже приходится не бежать, а прыгать какими-то нелепыми лягушачьими скачками – прыг-скок, прыг-скок, – всякий раз протяжно зависая в стоячем киселе грёзы. Так прыгают водолазы в тяжёлых костюмах по взрывающемуся мутью дну или космонавты на Луне. И ничего не происходит, погоня заканчивается пробуждением. Ерунда, сущий вздор. Мастер сна явно дал здесь маху – говорить было бы и вовсе не о чем, если бы не хорошая операторская работа. Сон этот не вызывал у Насти ни страха, ни радости, а одно досадное недоумение. Его, этого сна, вообще не должно было быть, поскольку Настя никогда не погружалась в бездну и не летала на Луну. Возможно, так проявлялось воспоминание о каком-то инобытии, в котором Настя была морским гребешком, или прозрение чего-то с ней ещё не случившегося. Как бы там ни было, сон, погуляв на стороне, возвращался снова и снова.

Второй раз за неделю Настя проснулась с чувством навязчивого недоумения. Впрочем, после стакана грейпфрутового сока скверное чувство, словно постепенно погружаемый в горячий чай кусочек сахара, стало таять с притопленной явью стороны, и вскоре от него ничего не осталось, даже буквы «ч».

В отличие от большинства сверстниц, у Насти к двадцати годам уже сложилось пусть спорное, но вполне внятное представление о жизни, которое позволяло ей время от времени проявлять характер и ввязываться в авантюры. Формулировалось это представление примерно следующим образом: жизнь – злая история, и всё самое отвратительное в ней обязательно случится. По существу, это была выигрышная позиция, поскольку в ней не оставалось места разочарованию.

В действительности, ничего по-настоящему отвратительного с Настей ещё не произошло: при рождении ей не защемили щипцами голову, её не била мать, её не изнасиловал отец, у неё не было фиолетовых пятен на лице, её никогда не дразнили квашнёй, она не подсела на героин и не торговала телом за дозу, её не ели заживо слепые африканские муравьи сияфу, способные за день до скелета обглодать лошадь, у неё не умирали дети (и не рождались), она не упала с бегового верблюда и не сломала позвоночник, её не похищали для опытов пришельцы,

и даже девственность она потеряла по доброй воле, потому что было уже пора, а тут как раз на общежитской вечеринке у подружек подвернулся абитуриент из Иркутска. Этого абитуриента Настя видела первый и последний раз – наверное, он не прошёл по конкурсу и вернулся домой под сень кедрача. Казалось бы, откуда взяться пессимизму? Однако Настя держалась своего: не стоит обольщаться – просто будничная мука привычна и не то чтобы незаметна, но почти не страшна, а так мы, конечно же, по уши в аду. Словом, чистый гностицизм. Уместна ли в аду жалость и есть ли там место любви? Этими вопросами Настя не задавалась, а жалела, злилась или оставалась бесстрастной исключительно волей душевного движения, без подключения рассудка. Ну а влюбляться иначе и не выходит.

В Егора Настя, кажется, влюбилась. Странное дело, но познакомились они на поминках – Настина школьная подруга угодила на мотике под грузовик, а с Егором покойная, как выяснилось, училась в университете на одном курсе. Смерть берёт своё, а жизнь – своё: вскоре поминки перешли в сдержанное, без танцев, застолье, и Егор с рюмкой подсел к Насте знакомиться. Она подумала: «Что я как амёба – меня тронут, я подберусь. Не надо подбираться – вдруг будет приятно или щекотно...» Егор оказался славным парнем – не скучным, сообразительным, без хвастовства и фальшивой рисовки, – они выпивали, болтали, незаметно взаимовувлеклись и в конце концов так хорошо подумали друг о друге, что за полночь Егор частично очутился внутри Насти, и оба поняли, что это не случайно. Конечно, если поразмыслить, над Егором следовало ещё немало поработать, чтобы он превратился во что-то стоящее, однако Настя сейчас вполне была удовлетворена и заготовкой.

Ясным утром в июне хочется мороженого и счастья, но без жертв – никак, и Настя, предварительно созвонившись с подругой-однокурсницей, отправилась к десяти на экзамен. В старинных гулких коридорах было прохладно и скучно, редкие стайки студентов толклись возле кафедр и деканатов. Генетику принимали два преподавателя – седой строгий профессор и худой остроносый доцент с засаленными волосами, похожий на мокрую левретку, – про него на факультете ходил слух: дескать, если, сдавая ему экзамен, достанешь зачётку из-под глубоко декольтированной кофточки – «уд» (в смысле «троечка») тебе обеспечен, невзирая на полное незнакомство с научной дисциплиной. Подруга Катенька оделась чрезвычайно дерзко и подгадала так, чтобы попасть к доценту. Настя, будучи увлечённым членом студенческого научного общества, пошла с билетом к профессору.

Катенькин «уд» (озорная Катенька называла его вставочкой, так и объявляла всем интересующимся после очередного экзамена: «Получила вставочку») и неизменное Настино «отлично» решили отметить бокалом шампанского в кафе. Немножечко отметить, совсем чуть-чуть, без разгула и излишеств – послезавтра последний экзамен, а уж конец сессии отпраздновать придётся как следует – с лёгким сердцем и засучив рукава. Сели в Катенькину «мазду-3» (подарок родителей по случаю поступления в Герцовник; сказали, мол, пройдёшь по конкурсу – получишь мамину машину, не пройдёшь – машину продадим, и будешь за эти деньги грызть гранит на платном отделении; Катенька напряглась и по конкурсу прошла, но хорошо учиться дальше стимула уже не было – ничего удивительного, что к четвёртому курсу она докатилась до сплошных «вставочек» и перезачётов) и намотали на колеса широкую петлю: по Мойке, Вознесенскому, Казанской – на Гороховую.

По непонятной причине «Zoom» был набит сидящими и снующими туда-сюда живульками, облепившими даже подушки в чиллауте. Катенька с трудом запарковала «мазду» и ехать в другое кафе не хотела, к тому же на улице разыгралась небольшая гроза, так что подружки, не найдя свободного столика, подсели к молодцеватому дядечке в футболке с махрящимися наружными швами и расшитой бисером шапочке, которую он в помещении с головы не снял.

Заказали шампанское и пломбир с ромом и шоколадной крошкой. За окном по мокрому тротуару шли ноги. Сосед, беспардонно разглядывая подружек, тянул из бокала брутальное

пиво. У него были умные серые глаза с искоркой азарта в зрачке, да и вообще он выглядел довольно эстетично. Вот только шапочка вызывала у Насти неясную тревогу.

– Однажды моя тётя, – сообщил сосед, обращаясь к подружкам запросто и без предисловий, – рядовая женщина с незадавшейся судьбой, из тех, что всегда едят то, что полезно, а не то, что вкусно, перебирала старые бумаги и нашла записку, посланную ей ухажёром в четвёртом классе: «Маша, выйдиш?» – Сосед голосом изобразил соответствующие орфографические ошибки. – Она уже не помнила, куда ей следовало выйти, но помнила, что написал эту записку шалопай Карпухин с последней парты. Тогда он был троечник и грубиян, а теперь – хозяин небольших размеров нефтяной трубы и регионального телеканала. Так вот, перечитывая записку, тётя подумала: «Ах, если бы я тогда вышла, жизнь моя могла бы сложиться иначе!» – Дядечка поднял бокал с пивом и подвёл итог: – Не опасайтесь приключений, барышни, чтобы потом не терзаться мыслями о несбывшемся.

Катенька прыснула в ладошку.

– Но ведь и у Карпухина, выйди к нему тогда ваша тётя, жизнь тоже могла сложиться иначе, – заметила Настя. – Скажем, не задаться.

– Верно, – согласился дядечка. – Но тётя бы в этом случае терзалась мыслями о сбывшемся, а она ими и так терзается.

Собственно, Настя не опасалась приключений, что само собой следовало из её жизненной установки, однако ловкое обоснование позиции ей понравилось. Сосед определённо умел располагать к себе случайных встречных. Хотя, судя по бесцеремонности, легко мог и послать – настолько далеко, насколько захочет.

Разговор тем временем сошёл к собакам, поскольку Катенька успела поведать причину их с Настей в этом месте появления, рассказать историю своей последней «вставочки» и вскользь упомянуть о внешнем сходстве доцента с забытой под дождём левреткой.

– Мы позволяем себе быть снисходительными к бессловесным тварям, – сказал сосед, между делом представившийся Ромой (как раз принесли мороженое с ромом), известным в кругу товарищей под прозвищем Тарарам, – а они, вообразите-ка, прекрасно постигают мир без помощи пропитанного ложью языка и редко покупаются на всевозможные фальшивки. Они, в отличие от нас, пока ещё неотделимы от реальной, тревожной, подлинной основы бытия, знают толк в простых вещах и ведают вкус неподдельной жизни. Недаром ведь следить за качеством сосисок мы доверяем кошкам и собакам. Более того, скажу вам истинную правду: те, кого мы надменно называем своими меньшими братьями, имеют представление о величии небес и, подобно нам, способны к мифотворчеству и производству слухов.

– Да что вы говорите! – округлила озорные зенки Катенька.

Тут в качестве примера упомянутых звериных качеств Рома Тарарам рассказал историю одной собаки, которую (историю) услышал от своего дяди, работавшего некогда на Байконуре. Нет, этот дядя не родня той тётке, что терзалась о несбывшемся над школьной запиской, он проходил по линии отца, а тётя – по совсем другой, извилистой и тёмной. Так вот. Собаку звали Жулькой, и была она самой рядовой дворнягой из героического отряда космических собак, которыми в былые времена пуляли в небо, чтобы доподлинно узнать, чем неизведанная звёздная пустыня может грозить земному организму. Там все такие были – Чернолапки, Жучки, Бобики и Псюши... Это потом, вернувшихся с удачей в зубах, их перекрещивали в Белки, Стрелки, Пчёлки, Сивки, Бурки... Жулька была одной из первых – ей не повезло. То есть она слетала в бездну и вернулась, но где-то по пути схватила дозу – жёстко облучилась. Чтоб подсиропить последние дни звёздной собаки безмятежной жизнью, её отдали на содержание механику из местной технической obsługi, который в ту пору как раз сворачивал на пенсию. Тот взял Жульку на благодатную Брянщину, где собирался со своей старухой в деревенском доме коротать отмеренный им век. Но жизнь спокойная не задалась. Неизвестно, как космическая Жулька на новом месте сумела поведать соплеменникам о своём героическом приключе-

нии, но посмотреть на неё сбегались псы со всей округи. Там завертелся ежедневный шабаш. Двор ломился от даров – бараньих копытцев, свиных потрохов, сахарных косточек, жертвенных куриц... Жулька стала предметом собачьего поклонения, дворнягой, побывавшей там, спустившейся в собачью скорбную юдоль оттуда, возможно даже, принесшей с собою весть...

– Какая славная история! – забыв о тающем пломбire, ударила в ладоши Катенька. – Неужто это правда?

Но сосед резко и вместе с тем как-то плавно перескочил совсем уже в иную область.

– Только у домашних городских девушек, – заметил Тарарам, глядя под стол на охваченные ремешками босоножек Катенькины ступни, – бывают такие пальчики на ногах, что их хочется обернуть в фантики, как леденцы.

Настя ощутила болезненный укол в верхней части позвоночного столба, почти уже под черепной коробкой. Так, будто изнутри, бывает, колются обидные слова. Настя каждый день по многу раз смотрела на своё отражение в зеркале и считала себя довольно привлекательной. По крайней мере, не менее привлекательной, чем Катенька. Ко всему, она тоже была в босоножках, и пальцы её ног блестели сиреневым лаком. То обстоятельство, что предпочтение Ромы оказалось отдано не ей, а именно Катеньке, чувствительно Настю задело. «Наверное, – подумала она, – вокруг меня витает облачко особенных секретов – каких-то отрицательных феромонов. По этому облачку самцы определяют, что я уже занята... то есть увлечена Егором. Надо справиться: есть ли такие феромоны?» Однако научная мысль о защитном облачке Настю не слишком успокоила.

– А это уже сексизм, – сказала она, видя, что Рома Тарарам вот-вот погладит Катеньку по коленке. – Вернее, сексуальное домогательство.

– Вы что же, дружок, суфразистка? – изрёк шустрый сосед. – Да будет вам известно, идеи, преисполненные мечтой о равенстве, по преимуществу рождаются в сообществах рабов и париев. О равенстве мечтают овощи на грядке Бога. В сообществах, где царит гордый и свободный дух, говорят о вещах гораздо более существенных и дерзких.

– Например. – Настя нервно проглотила ударившее пузырьками в нёбо шампанское.

– Например, о роковом неравенстве людей. Даже среди голых в бане.

И тут Настя вспомнила, где видела эту расшитую бисером шапочку. Вспомнила и звонко рассмеялась.

Дальше всё было так, как Настя рассказала по телефону Егору. Поговорили о параде голых и секте «долгой стыд». Потом Катенька повелась и продиктовала номер своей мобилки Роме, который записал его заряженной пружинным механизмом шариковой ручкой на левой ладони, а Настя, окутанная облачком отрицательных феромонов, диктовать не стала. Да у неё и не просили.

### 3

Полуденная кружка пива, выпитая Ромой в «Zoom»'е, вызвала странную реакцию в его организме – голова наполнилась какой-то разваренной в прозрачную слизь лапшой, благодаря чему мысль о том, что теория эволюции кардинально неверна, поскольку изначально движение запущено не по восходящей, а наоборот, и всё многообразие живого мира, включая дождевых червей и хитроумно напудренных бабочек, произошло вовсе не от случайной молекулы белка, но от совершеннейшего существа путем утраты им первичного адамического естества, осталась Ромой недодуманной. На всякий случай – для грядущих размышлений – он написал левой рукой на правой ладони: «Теория инволюции». Однако каракули получились совершенно неразборчивыми – так пишет врач или курица лапой.

Вернувшись в благоухающую «Незабудку», Тарарам сел за казённый компьютер и отправил в одну сетевую контору, специализирующуюся на рассылке спама, новый рекламный

прайс-лист цветочного треста с предложениями: а) по корпоративному обслуживанию компаний (еженедельная замена цветов, поздравление сотрудников и партнёров), б) по доставке букетов, композиций и корзин, в) по оформлению банкетов, презентаций, юбилеев, свадеб, похорон и прочих торжественных событий, г) по организации фитодекора интерьеров (оформление горшечными растениями с последующим уходом) и д) по озеленению входов в рестораны и офисы (с использованием однолетних и многолетних цветочных культур). Ценник прилагался. Подробности на сайте.

Вообще-то в служебные обязанности Ромы не входила рассылка рекламы, однако время от времени он шёл навстречу руководству в подобных мелочах, за что был дирекцией ценим и в размерах, сообразных должности курьера, рублём поощряем. Помимо этого, на дверях своего личного, крытого тугим тентом «самурая», посредством которого он осуществлял своевременную доставку букетов, композиций и корзин, Рома позволил прилепить самоклейки с логотипом цветочного треста «Незабудка», что было расценено начальством как вершина лояльности и образец корпоративной этики. Сам Тарарам отнёсся к самоклеякам как к элементу автомобильного декора, обеспечившему его и без того приметному драндулету окончательно неподражаемый вид.

Этого «самурая», рождённого в Японии в далёком 1989 году, Тарарам приобрел на излёте девяностых после того, как совершенно случайно (похлопотала одна фря из совета при известном фонде, тщетно пытавшаяся добиться Роминого расположения) выиграл грант на некий художественный проект, который существовал лишь в пространстве его воображения и совершенно не требовал воплощения. Рома не был грантососом и не собирался отчитываться творческими победами за внезапно свалившийся на его голову капитал. Напротив, он демонстративно и с удовольствием пустил деньги забугорных налогоплательщиков на ветер, за что был художественной общественностью, стоявшей в очереди за иностранной пайкой, безоговорочно осуждён. Единственным материальным свидетельством Роминого кратковременного богатства остался «самурай», который пусть и был рассчитан на японских карликов, всё равно пришёлся Тарараму по сердцу задиристым видом, неприхотливым нравом и неустрашимостью перед отечественным бездорожьем. Надёжная и крепкая была машина, если относиться к ней по-человечески. Да и в городском курьерском деле «самурай» оказался незаменим, поскольку, в объезд пробок, легко взбирался на поребрики и втискивался в самые узкие щели.

Вечером, приехав из цветочного треста домой на Стремянную улицу, Рома первым делом переставил с пола на подоконник горшок с цикламеном, – цветок на подоконнике означал, что сегодня хозяин не прочь выпить. Этот условный сигнал был введён в обиход задолго до триумфа сотовой связи и с совсем другим кустом в горшке, но постепенно так прижился, что обрёл едва ли не ритуальный статус.

Хмельное настроение во многом было вызвано тем обстоятельством, что в последнее время Тарарам вновь ощущал прилив настоящей потребности в перемене участи. Череду будней томила его роковой безысходностью – он ощущал себя запертым в пузыре, он бился в хрустальную стену, отделявшую замкнувшую его в себе сферу от остального пространства, но не оставлял на прозрачной поверхности даже царапин. Это давило, как давит намокшее под дождём пальто, сделавшееся от сырости тяжёлым и тесным. А может, чёрт с ним, с миром миражей и фальшивых достоинств? Может, следует просто им пренебречь? Сдуть его внутри себя, отринуть, бросить в пыльный угол, забыть и использовать лишь при необходимости? Именно так – пренебречь и использовать. И строить внутри бублимира свой собственный мир – блаженный мир-паразит, который лишит сил и в конце концов взорвёт вместивший его адский универсум. Так действовали хиппи. И у них что-то там едва не получилось. Подвела иезуитская мораль коммуны: ты мой хазбенд, я твоя скво, но я хочу переспать вон с тем чуваком, запретить это ты мне не можешь, однако имеешь право при этом присутствовать... Там было слишком много осквернённой любви. Не будь они такими эгоистами, халявщиками, слюня-

ями и идиотами, всё могло бы сложиться иначе. Но общество зрелища поглотило и их. Возможно, они просто не знали, что в этой жизни побеждают маньяки... Структура должна быть жёсткой и колючей, чтобы, при попытке проглотить, бублимир ею подавился.

Мысли в голове Тарарама толкались, мешали друг другу, путались, противоречили сами себе и распадалась на небольшие тающие облачка. Но в целом их пульсирующий клубок странным образом подзаряжал Рому покоем, высвечивая в грядущем пусть не во всём ясную, но всё же перспективу. Вернее, свидетельствуя о наличии перспективы как таковой.

Каждый грибник знает, что гриб бывает красивым. Так и мир-паразит сомнителен лишь как лексический негатив, но на деле он будет куда прекраснее субстрата, из которого выскочил. Вот только строить новое надо с новыми людьми – молодыми, весёлыми и злыми. С теми, кто ещё не соблазнён бублимиром, не увяз в нём ни помыслами, ни надеждами, ни обязательствами. С теми, кто ещё не потерян, а только немного испорчен. Но где таких взять?

Некогда Рома решил, что согласится считать себя старым лишь тогда, когда речь окружающей его поросли перестанет быть его речью и превратится в язык какого-то родственного народа. Ему уже стукнуло тридцать восемь, но он до сих пор обходился без переводчика. «Надо начинать работать с молодёжью», – рассудил Тарарам и, убрав с подоконника горшок, отправился в прихожую надевать кроссовки.

Поскольку никто не зашёл к нему на зов цикламена, Рома принялся действовать самостоятельно. Следовало развеять томление, дать выход неудовлетворённости и запустить моторчик какого-нибудь небольшого события. Кроме того, холодильник был пуст, а под ложечкой слегка сосало. Если бы девушка Даша не уехала вчера погостить к тёте в Воронеж, Рома позвонил бы ей, и вместе они по-товарищески сладили бы приятное происшествие, но Даша уехала. Прикинув в уме иные варианты, Рома понял, что с начала лета город порядком опустел.

На Невском, шумно опровергавшем любые соображения о сезонном запустении, возле гостиницы «Рэдиссон САС», Тарарам дождался, когда к остановке подкатит троллейбус, и, деловито подойдя к нему сзади, отвязал от лесенки верёвку, крепившуюся двумя железными кольцами к токоприёмникам. Мимо, производя соответствующий гул, неслись машины. Люди в ожидании посадки толпились у дверей, выпуская пассажиров, – на Рому никто не обращал внимания. Поддёрнув верёвку, Тарарам загнал кольца по штангам вверх, потянул и снял троллейбусные дуги с проводов. Придирчиво оглядев тротуар, Рома выделил идущего в толпе гражданина и с панибратской вежливостью его окликнул:

– Любезный, можно вас?

Гражданин был средних лет, лысоватый, в очках и с газетой. Некоторое время он колебался, не до конца уверенный, что обращаются именно к нему.

– Да? – наконец участливо откликнулся он.

– Подержите две минуты. – Рома кивнул на верёвку. – У меня фаза искрит. Надо клемму скинуть, контакт зачистить и гайку подкрутить.

Гражданин без энтузиазма взял верёвку в руку.

– Только на провода не сажайте, – предупредил Тарарам. – Там шестьсот вольт. Отпустите – я покойник.

Подкупленный таким доверием, гражданин ответственно сунул газету под мышку и вцепился в верёвку обеими руками.

Рома обошёл троллейбус, нырнул в толпу и, скрытый рекламной тумбой, принялся наблюдать за организованным событием.

Пассажиры поднялись в троллейбус, но с места он не трогался. Вскоре из кабины выскочил водитель в тельняшке под клетчатой рубахой, подозрительно осмотрелся и, зайдя троллейбусу в тыл, уставился на гражданина, который добросовестно держал верёвку, оттягивающую книзу снятые с проводов дуги. Гражданин спокойно выдержал его взгляд.

– Ты что делаешь, чудила? – спросил водитель.

Гражданин презрительно отвернулся. Рулевой покраснел, обошёл шутника и снова заглянул ему в лицо.

– Отпусти верёвку, придурок, – велел водитель.

– Нельзя, – объяснил гражданин назойливому хаму. – Человека убьёт.

– Какого, нах, человека?!

– Водителя.

– Какого, нах, водителя?!

Шумы проспекта мешали Роме разбирать слова, но гражданин ещё, наверное, минуту непоколебимо отстаивал Ромину жизнь от посягательств невесты откуда взявшегося мужлана. «Молодец лысый», – подумал Тарарам удовлетворённо.

Когда водитель всё же вырвал верёвку из рук стойкого очкарика, судьбу которого украсила спонтанная микроистория, и наступил на выроненную им газету, Рома покинул убежище за тумбой и не спеша направился в продовольственный магазин на углу Владимирского и Графского. «Вторично всё-таки, – думал он в пути. – Беззубо. Постылая скрытая камера. Какие-то „приколы нашего городка“...» Вокруг был солнечный вечер, впереди – белая ночь. В такую пору не стоит забивать свой органайзер делами – жизнь всё равно посрамит любые планы.

«Да, надо начинать работать с молодёжью», – думал Тарарам, расплачиваясь в кассе за хлеб, купаты, сетку картошки, кетчуп, шпроты, пакет брусничного морса и полбанки водки. Купюры он положил в пластмассовую мисочку, а мелочь протянул на открытой ладони.

– Ой, – сказала кассирша, выбирая у него из горсти шесть рублей пятьдесят копеек, – вы где-то руку замарали.

Рома посмотрел на правую ладонь и ничего не понял. Посмотрел на левую и улыбнулся. Ну конечно, Катенька...

#### 4

Кое-кто полагал, что стройная Катенька – нежнейшее создание, способное вкушать лишь цветок настурции на завтрак, лист латука на обед и каплю росы на ужин. Те, кто так думал, изрядно ошибались. Катенька любила со вкусом поесть, так что, несмотря на свою сумасшедшую моторику, сжигавшую в ноль все достижения жиров и углеводов, в угоду девичьей мнительности была вынуждена раз в неделю мучить себя разгрузочным днём, увлажнённым одним только яблочным соком. Завтра подходил срок именно такому дню, и Катенька к нему готовилась. На тарелке перед ней лежала золотистая котлета по-киевски с посыпанной укропом отварной картошкой на гарнир. Рядом ждали своей очереди бутерброд с солёной сёмгой, вазочка с луковым круассаном, кусочек дор-блю на блюде и ломтик торта – толстый слой суфле на бисквитном корже.

Катенька предвкушала.

Предвкушала и наслаждалась тишиной. Потому что это была особенная тишина – обрётённая в долгой борьбе и потому трижды дорогая.

Несколько лет назад город охватило странное поветрие: точно сыпь – краснушника, город повсеместно обложили музеи восковых фигур, один из которых расположился в верхнем этаже Балтийского дома на Кронверкском проспекте, с отдельным входом – за углом от парадного, с торца. Там же музейщики устроили и мастерскую, так что жившая напротив Балтийского дома Катенька не раз наблюдала, как иногда беззвёздными петербургскими ночами, когда на крышах завывал распоротый антенными мачтами ветер, люди в халатах колдуют в освещённом окне между серых колонн над образом очередного истукана. В этом было что-то таинственное, даже жутковатое, тут сильно пахло страшной тайной – мейринковским големом, жарким подвалом Бётгера, лабораторией доктора Франкенштейна. Всё бы ничего, но паноптикум, помимо

призывных щитов с портретами медийных образин, древних рептилий и гигантских насекомых, выставил на гранитную лестницу колонку и наладил жуткую звуковую рекламу. Пропитой голос артиста с какой-то неуместной приторной интонацией предлагал осмотреть движущиеся восковые фигуры (стандартный набор киночучел, тайсонов и клоунов политического Олимпа), а также динозавров и насекомых-монстров, после чего из динамиков, как ведро с помоями, выплёскивалась визгливая ярмарочная кадрили. Потом опять голос зазывалы, и снова одуряющий визг. И так, бесконечным кольцом – с утра до вечера.

Несмотря на то, что днём Катенька болталась в Герцовнике, через неделю нервы её не выдержали.

Управляющей паноптикума оказалась энергичная кадушка, крашенная под Златовласку, – она Катеньку просто обхватила. Деловая часть её речи сводилась к следующему: музей арендует помещение у Балтийского дома, и последний к музею претензий не имеет, а шумовой уровень звуковой рекламы никакими законодательными актами не регламентируется, так что, девушка, шуршите ножками. Катенька обладала реактивной психикой и от хамства не цепенела, а только подзаряжалась. Не в смысле – перехамить, а в смысле – действовать, упорно гнуть своё, ковать победу. «Война так война», – решила она и открыла телефонный справочник.

Секретарша, сочувственно Катеньку выслушав (Катенька для важности представилась не просто Катенькой, а «возмущёнными жильцами окрестных домов»), с директором Балтийского дома её всё же не соединила – шеф оказался занят. Он был занят и через час, и через полтора, и весь следующий день, и два других дня, оставшихся до конца недели... «Я сожгу ваш балаган!» – в запале крикнула Катенька в трубку – так, чтобы её с гарантией услышала находящаяся на другом конце провода секретарша. Теперь её врагом стал и директор, а не только засевшая в верхнем этаже подведомственной ему цитадели кадушка.

В субботу Катенька взяла из отцовского ящика с инструментами отвёртку, натянула на спрятанные за тёмными стёклами очков глаза козырёк джинсовой бейсболки и, таясь, как подпольщица, отправилась на улицу. Пьянящий зов опасности, фанфары праведной битвы властно манили её, накатывая волнами возбуждающего жара. Дождавшись, когда девица, раздающая на гранитной лестнице пёстрые флаеры воскового зверинца, отлучится, Катенька быстро подошла к колонке и, стараясь не привлекать внимания, в нескольких местах короткими ударами пробила отвёрткой диффузоры динамиков. Когда она ретировалась, колонка вслед ей лишь хрипло потрескивала и что-то слабо бубнила, как простуженная милицейская рация.

Два дня за окнами стояла тишина – Катенька упивалась победой и была очень собой довольна. Ведь музыка – это не сиплая кадрили, а чистые звуки в тишине. И культура – это не шоу парафиновых уродцев, а желание сделать лучше, чем делали до тебя, сделать так, как никогда не делали... Однако с утра во вторник реклама загремела с удвоенной силой. Выйдя на разведку, Катенька с досадой обнаружила, что новая колонка мощнее прежней и предусмотрительно забрана в специально изготовленный чехол из частой металлической сетки.

На весь остаток дня голова Катеньки превратилась в фабрику по производству асимметричных ответов. Хотя хвастать, положить руку на сердце, было нечем.

В среду после института Катенька отправилась на Большой проспект Петроградской стороны в мужской магазин «Солдат удачи». Духовое ружьё с хорошим боем оказалось ей не по карману, к тому же оно было слишком громоздким. Однако в качестве приемлемой замены продавец порекомендовал ей сокрушительную рогатку с хитрым упором в локоть: такие, сказал он, стоят на вооружении американской армии, так что, когда у отважного морского пехотинца, спецназовца или, извините за выражение, рейнджера кончаются патроны, он достаёт из кармана эту рогатку, кладёт вот сюда металлический шарик – и враг бежит, пятная полевою форму жидким стулом. Рогатка Катеньке понравилась, к тому же она была довольно компактной и легко умещалась среди конспектов в рюкзачке или вместе с батоном в полиэтиленовом пакете.



Перед диверсией покупка была опробована в захламлённом дворе идущего на капремонт дома. Оружие возмездия требовало в обращении определённых мышечных усилий, но било действительно мощно, хотя – в Катенькиных руках – и не слишком прицельно.

Приобретя в строительном магазине – вдобавок к прилагавшимся в комплекте к рогатке металлическим шарикам – запас подходящих гаек, однажды пасмурной ночью Катенька вышла на дело. По саду вдоль Кронверкского проспекта изредка прогуливались милиционеры, но возле Балтийского дома стояли в ряд несколько больших рекламных щитов, способных служить неплохим прикрытием. Катенька видела милицейские сериалы и действовала осмотрительно – перед каждым выстрелом она протирала шарик или гайку носовым платком, чтобы не оставлять отпечатков пальцев. Рискованное занятие оказалось довольно увлекательным – выпущенные из тугой рогатки снаряды не разносили стекло вдребезги, а, произведя сухой щелчок, оставляли в нём сквозные, красивые, оплетённые радиальной паутиной трещин дыры. В окна ненавистного музея снизу Катеньке было не попасть, зато окно алхимической лаборатории (в ту ночь оно было темно) и прочие доступные стёкла не желающего идти на переговоры Балтийского дома она изрешетила изрядно.

Утром под истошные призывы неуёмного зазывалы Катенька спустилась на улицу и направилась к ближайшему таксофону. Изменив голос на нетвёрдый мальчишеский бас, она сказала снявшей трубку секретарше: «Заткните рекламу своей парафиновой дряни. Стёкла – последнее предупреждение». – «Так это вы!..» – ахнула секретарша, не оставляя сомнений этим ужасным «вы» в полном конспиративном провале злоумышленника. Уличённая Катенька быстро повесила трубку.

Как ни странно, в последующие дни ровным счётом ничего не изменилось – динамики гремели с прежней силой, дырявые стёкла никто не менял. Как будто и не было никакого ночного налёта, как будто окна для вентиляции разбили по распоряжению неуловимого директора... От обиды Катенька кусала губы.

Другой бы сдался, выбросил белый флаг и поднял лапки – но только не она. Спустя пару дней, вновь заряжённая жаждой битвы, Катенька зашла после занятий в строительный магазин и купила две пластиковые бутылки растворителя. Испытания были проведены в том же захламлённом дворе, где пристреливалась рогатка. Поджигать лужицу растворителя зажигалкой оказалось очень неудобно, зато от горящего клочка газеты жидкость вспыхивала мигом и с угрожающим весельем.

Назавтра в одиннадцать часов утра – к самому открытию – Катенька, в тёмных очках, бейсболке и старой дачной ветровке, подошла к паноптикуму. В руках у неё был полиэтиленовый пакет с бутылками растворителя и газетой. Она рассчитывала оказаться первым посетителем музея. Так и случилось. По предыдущим вылазкам Катенька знала, что в зале с восковыми Поттером, Шварценеггером и хоббитом Фродо постоянно дежурит смотритель, поэтому туда она не пошла, а остановилась в зале с рептилиями, для акции возмездия тоже вполне пригодном. Облив растворителем поднявшегося на дыбы двухметрового ящера с оттопыренным когтем на рахитичных передних лапках, Катенька бросила в натёкшую под него лужу вторую бутылку, достала газету и щёлкнула зажигалкой. Когда она уже спускалась по лестнице, за её спиной глухо фыркнул, разорвавшись, оставленный в луже пластиковый баллон. Пряча лицо за козырьком бейсболки, Катенька равнодушно кинула сидевшей на выходе из музея старушке: «Кажется, там что-то горит». Оттопыренный, точно коготь уже объятый пламенем ящера, большой Катенькин палец качнулся вверх.

В тот день в институт она не пошла. Подобно Герострату, с замирающим от величия содеянного сердцем, Катенька не могла оторваться от выходящего на Кронверкский проспект окна. Верхний этаж Балтийского дома пылал, стёкла лопнули, дым в небеса валил какой-то изжелта-чёрный, химический, на улицу сыпались багровые искры, пожарные расчёты подъезжали один за другим... Всего Катенька насчитала одиннадцать красивых красных машин.

С тех пор прошло около года. Сгоревшее помещение отремонтировали – там снова располагался музей восковых фигур. Но теперь – присмиривший, укрощённый, безъязыкий. Как было этим не насладиться?

Снаружи разливалась отрадная тишина. То есть в пространстве метались обычные шумы, производимые населявшими город людьми и механизмами, – те самые фоновые звуки, которые, как шорох листьев и щебет птиц в лесу, здесь, собственно, и назывались тишиной.

Катенька взяла вилку, нож и приступила к котлете по-киевски, брызнувшей из надреза на тарелку горячим зелёным маслом. Бутерброд с сёмгой лежал тут же наготове вместо обычного в таких случаях хлеба.

Не успела она добраться до кусочка дор-блю, лоснящегося свежим срезом с лакунами серо-зелёного, похожего на прожилки в мраморе, плесневого налёта, как замаякала брошенная в кресле мобилка. Номер был незнакомый, но Катенька включилась не раздумывая.

– Это – Тарарам, – сказала мобилка. – Тебе не кажется, что наша разлука затянулась? Если нет, то я плачу. Горько плачу о тебе и о тех, кто по сухости сердца не имеет благодати слёз.

Катенька не первый день жила на свете и уже встречала людей, от одного голоса которых у неё пропадал аппетит (особенно когда к ней обращались на «ты» без предварительной о том договорённости), поэтому с радостью отметила, что Рома не из их числа.

– Не надо плакать, – сказала она. – У меня как раз свободный вечер.

– Ты ангел, Катенька.

– Вы цените меня больше, чем я стою, – вонзая вилку в сыр, с кротким достоинством ответила Катенька.

## Ветер перемен

Возле подвального окна, забитого листом жести с отогнутым краем, дрожит крыса. Кожаный хвост отброшен безвольно, как утопший в луже огромный дождевой червь. Серый зверёк втянул голову в туловище и почти опустил морду на землю. Через равные промежутки времени тело его сотрясает болезненная конвульсия. Проходящие мимо люди и проезжающие машины не пугают крысу. Она больше не придаёт им значения. А человек брезгует, потому что видит: дело решённое. Люди и крыса словно оказались на разных ярусах бытия, измеряемых разными мерами: те – в четверге, а эта – за полярным кругом. Внутри зверёк уже неживой. Спецслужбы коммунального хозяйства боролись с грызунами – крыса съела яд.

Я вижу это сразу отовсюду, я – ветер перемен, забавнейший из демонов. Один из тех, кто из века в век для человека – шоры, узда и хлыст. И жалящий его слепень. Но при этом я неизменно облачён в одежды радушия и сладких грёз о будущем.

Я свищу в умах и опьяняю пустыми надеждами.

Я отбираю покой, заполняю мир суетой, и люди, увязнув в тщете, умирают, даже не начав строить свою пирамиду.

Я делаю крепкое ветхим, здоровое – больным, новое – негодным.

Я смущаю загадками и бросаю тень на плетень: варвары не пошли на Рим, испугавшись вспыхнувшей там чумы; что же чума для Рима – спасение или кара?

Я пристрастил человека наряжать вещи в лукавые имена, внушив ему, что искренность и неприглядная правда подобны рвоте за обедом. Это легко – Бог людей милостив, но они с большей охотой подражают не милости Бога, а вракам и жестокости друг друга.

Я придумал перекупщика и адвоката, и человек принял их как необходимость, хотя в основе их дела лежат нравственная порча, стяжание, ложь – брать дешевле, отдавать дороже, защищать независимо от вины и за деньги. Деньги тоже придумал я.

Я знаю то, что знаю, и это больше, чем нужно знать тому, чей срок отмерен. Человеку не пристало брезговать подышающей крысой, ведь его мир внутри тоже неживой. Он лишён воли, соблазнен и отравлен. На его теле уже пирует трупная дрянь. Его дело решённое. От него осталась только видимость, которая – та же конвульсия, крысиная дрожь, смертная судорога зверька, безвозвратно уходящего за грань. Таким мир человека сделал я – ветер перемен. А человек убил крысу, думая, что так сделал свой неживой мир чище. Ха-ха. Смех – это тоже я, когда щекочу глотки дураков.

Прежде люди знали, что миром призваны править сильные, потому что сильные ведают путь и приносят живой покой – ведь именно на силу нисходит мудрость. И слабые, зная, что покой от сильных, не жалили их, понимая, что за этим последует смута, а где смута – там и неурожай. Но я совратил умы. Я нашептал людям в уши мечту, будто все равны. Мужчина и женщина, больной и здоровый, умный и вислоухий, телега и лошадь, пёс и его блохи. Все равны, но если вдруг случается распря – нужно вставать на сторону слабого. Непременно нужно, ибо так будет порядочно. «Прими сторону блох!» – сказал я. Эту неправду встретили с восторгом, ей аплодировали, на неё молились. Я надул пузырь лжи и соблазнил. За мечтой о земном рае люди забыли страх перед земным адом. А между тем равенство – вещь небывалая, сплошь умозрительная, воплощения не имеющая. Никто не стремится к равенству – все стремятся к превосходству, и нетерпимость в мир приходит не от сильных, а от слабых, раздражённых чужой силой. Сильный, встав на сторону убогих и сирых, бредящих о превосходстве и униженных собственной немощью, добровольно принимает яд и сам становится убогим и сирым. И тогда слабые начинают кусать сильного, забыв, что более всего в том, чтобы сильные оставались сильными, заинтересованы именно они, слабые, ибо все обиды и унижения – как действительные, так и мнимые – сильные впоследствии выместят прежде всего на них. А когда сильные начинают чувствовать себя обиженными, тогда их покидает мудрость, равновесие рушится и господином мира становлюсь я – ветер перемен. И начинается грызня всех со всеми.

Зачем мне это надо? Спроси рыбу: почему она плавает? Немая рыба скажет: я так существую и могу быть только так. Вот и мне приходится отстаивать своё право быть на земле и править её под себя, отстаивать перед лицом любви, на дух не переносящей мёртвого жеманства, отсутствия огня внутри вещей и не прощающей насмешки над собой – никому и никогда. Рыбе нравится быть рыбой. Черепахе нравится, что она не белка. Мне нравится менять неизменное, утверждённое от начала, нравится извращать закон, порождённый творением.

Мне по вкусу, когда человек делает своим естеством смесь снобизма и лакейства, которую приготовил ему я, по вкусу, когда он жаждет не справедливости, а безнаказанности. Тогда человек становится тем, кем надо – отъявленной сволочью. Тогда он готов красть, лгать, соблазнять, предавать, носить овечью шкуру, бросать святыни псам, не любить, потворствовать беззаконию, не давать, поступать с другими так, как не хотел бы, чтобы с ним, судить, не прощать, лицемерить, льстить маленькому человеку, пестуя в нём маленькую гадину, вождель, стяжать, клясться и преступать клятвы, глумиться над просящим, сгущать тьму и вместо помощи предлагать змею. Мне нравится такой человек. Мне нравится делать живое мёртвым, нравится, выедавая всё до грунта в одном месте, как саранча, перелетать на другое.

Я лгу: расстояния лечат любовь, а большую любовь лечат большие расстояния. Этот рецепт принимают за опыт чувства, и никто не спорит, что любовь не болезнь и не требует лечения. Сладше самой сладости для меня перетолковывать истину.

Я потакаю деятельным идиотам, пасущимся без пастыря, они – гной жизни. Им всегда всё понятно, им известно, как надо и как было по-настоящему. Шустряки, не живущие, а учащие жить других, – моё жало в мире, отброшенная мною тень.

Я не терплю волю сильных, знающих путь, узревших меня в моих деяниях и меня не принявших. Но отвратны мне и сомневающиеся в собственном знании. Сомнение крепит человека, а мне мила самодовольная слизь.

Я потворствую блуду народовластия, диктатуре черни – это моё порождение, и я, ветер перемен, её закон. Мёртвые империи, покрытые пёстрой порослью автономной крапивы и суверенного кипрея, – следы моих дуновений. Этот сорный вздор быстро обживает руины.

Любовь – мой вечный враг – собирает, я – распыляю. Она строит собор, я растаскиваю камни, чтобы соблазнённый человек сложил из них забор и оградился от соседа.

Человек родился с великим знанием устройства творения, я дал ему линейку, микроскоп, циркуль, логарифмы и распылил его знание. Продул ему разум, и теперь человеку кажется, что он прибавляет, в то время, когда дробит. С тех пор мир человека – крыса, съевшая яд. Из дня в день в нём дробится и мельчает жизнь, и он умирает всё больше и безвозвратнее. Внутри он уже неживой. Конвульсия – всё, что ему осталось. Теперь в нём есть лишь две вещи, которые меня волнуют – улилам и набрис.

## Глава 3. Разговоры

### 1

– Видишь пятно?

– Где?

– Вон там, маленькое, на стене. Ну вон же, под бордюром. Чуть левее шкафа. – Настя то выпрастывала ногу из-под простыни, указуя, то вновь набрасывала простыню на ногу.

– Не вижу, – не видел пятна Егор. – А что?

– Оно такое... На крестик кривой похоже. Ну как же ты не видишь?

– Не вижу. Там много пятен, – сказал Егор, а сам ни к селу ни к городу подумал, что в Великой Британии, пожалуй, опасно есть баранину под чесночным соусом, поскольку яд англичане, судя по их литературе, по всякому случаю сыпят именно туда.

– Нет, не узор, а будто брызнул кто-то. Видишь?

– Никто там не брызгал. Нет там ничего.

– Да вон же, как крестик могильный... Слепой, что ли?

– Не слепой. Просто... Из детства смерть не заметна, как твой могильный крестик на...

– Мой крестик? Типун на язык! Это твой крестик. Мой, видишь ли, крестик... И стена тоже твоя.

– Ладно. Он ничей. Из детства смерть не заметна, как маленький крестик на далёкой стене.

– Ну вот, то-то же. – Настя опять выпростала белую ногу и свечкой выставила в потолок. – Скажи, что тебя сильнее всего... задело или впечатлило за последние... допустим, месяц? Ну, пусть даже два?

– Месяц?

– Или два.

– Так сразу и не... – Брови Егора задумчиво поднялись на лоб.

– Тогда давай сначала я. Не поверишь, я тут прочитала, что птенец малиновки съедает за день три с половиной метра дождевых червей. И чёрный ящик самолёта на самом деле не чёрный, а оранжевый. И ещё я прочитала, что сердце кита бьётся всего девять раз в минуту, а у тигра полосатый не только мех, но и кожа под мехом. Здорово, правда? Или вот, скажем, ты знаешь, что акула ненасытна настолько, что даже мёртвая продолжает переваривать пищу, но в этом случае она уже переваривает и саму себя. Нет, ты только представь! – толкнула Настя Егора бедром. – Представил?

– Не надо о рыбах.

– Почему?

– А ты приглядишься к ним – чешуя залита слизью, бока обросли тиной, глаза не умеют моргать... Рыба живёт на полпути к смерти. Она посередине между человеком и небытием. Поэтому и молчит.

– Скажешь тоже... Рыбы красивые. А сиг и сёмга вообще из чистого серебра, как водосточные трубы. – Нога, постояв белой свечкой, опять оказалась под простынёй. – Или вот, помню, как-то утром бортковского «Идиота» смотрела... Кофе пью и думаю. Знаешь что?

– Что?

– Вот ведь, думаю, Достоевский, какой человечий – его даже телевизором не убить!

– Смотри-ка, мимо тебя не проشمывают. Ни малиновке, ни Достоевскому.

– Точно. Потому что я – человек интересующийся. Ну так что? Будешь говорить?

– О чём?

- Ну, про сильное впечатление. Живёшь, что ли, и не удивляешься?
- Надо вспомнить.
- Вспоминай.
- Вспомнил. В тот день, когда мы с тобой встретились... или накануне... В общем, перед тем, как мы встретились, там, на поминках, у меня зазвонила трубка. Номер незнакомый, я к уху подношу, а там: «Привет, это Любовь».
- Какая любовь?
- Не знаю.
- Что значит «не знаю»? Что это было?
- Ничего. Ошиблись номером.

## 2

- Разваристая... – сказал Тарарам и дёрнул чеку на банке со шпротами. – Тело Ромы картошкой прирастать будет.
- Я так счастлива, Ромка! Кто бы знал... – Катенька с ужимками, прикусывая губу и закатывая очи, накладывала в две тарелки пускающий кудельки пара отварной картофель. Солнце в окне Тарарамовой кухни медленно падало за жестяные крыши – куда-то недалеко, примерно в устье Большой Невы.
- Так и положено. Дети непременно должны быть счастливы, потому что детство – самая чудесная пора. Вся остальная жизнь – только расплата за это недолгое блаженство.
- Прикалываешься, да?
- Ничуть.
- Ну, прикалывайся, прикалывайся, старый селадон.
- Вот, значит, как? Мы вам – внимание, а вы нас виском седым попрекаете?
- А ты что думал? – Глаза Катеньки, густо подведённые косметической ваксой, шевелили ресницами, как жуки лапами. – Мы, Офелии, такие – нас шпилькой не ковырни, мы и не пахнем.
- Офелии?
- Ну не Офелии, так бесприданницы – Ларисы, знаешь ли, Дмитриевны...
- Ха! Да ты, дружок, должно быть, в пустоголовой юности мечтала стать актриской. Колись – хотела? Отвечай! В глаза смотреть! Любишь театр, как люблю его я?
- Люблю. Я даже в театральный поступала, но туры не прошла.
- Переживала?
- Сначала в Фонтанку головой хотела. А потом просто с парашюта плюнула. Да и предки сказали, мол, давай, зайка, без иллюзий – у тебя, кажется, в седьмом классе по биологии была пятёрка, вот и дуй в ботаники.
- В целом правильно. Не тот случай, чтобы в Фонтанку головой. Зачем нам театральный? Мы с тобой устроим такой театр, что Станиславский ужаснётся. А что твои друзья-подружки? Настя? Кто там ещё? Давайте вместе где-нибудь сойдёмся – мне интересно посмотреть на твой порочный круг.
- Давай. А где сойдёмся?
- Так. Для начала определимся со сторонами света. Вот компас. – Тарарам поднялся со стула и, дважды пройдя мимо зеркала со своим отражением, положил компас на стол. – Его, как известно, в древности изобрели китайцы. С тех пор они не то чтобы переродились, но испортились, и компасы мастачить разучились. Однажды в магазине я попросил принести пять китайских компасов, чтобы выбрать достойный. Представь себе – все они показывали север в разных направлениях! Поэтому я купил русский компас, самый лучший, который не врёт.

Итак, смотри: вот там у нас север, здесь, стало быть, юг, тут – восток, а там – запад. Теперь, дружок, будем думать, где встретиться.

– Нет, так не пойдёт.

– Что такое?

– А почему солнце заходит на севере?

– Это, знаешь ли, вопрос к солнцу.

### 3

– Время было свинское, – говорил Тарарам. – Смута, смешенье языков... Страна осыпалась, как новогодняя ёлка к Крещению. Хмельной Бориска «барыню» танцевал и строил на усохших просторах нищую банановую республику с бандой компрадорских олигархов во главе. Братки, опьянённые свободой кулака, либералы, опьянённые свободой бла-бла-бла, менты, опьянённые свободой шарить по карманам... Противно было дышать с этой сволочью одним газом. Вы эти времена, пожалуй, и не помните... А тут ещё открылись шлюзы – теки, куда хочешь. Дело молодое – интересно. И я потёк. Везде была жопа. Но это была их добровольная жопа, поэтому, наверно, и не так давила. Сначала болтался в Берлине. Пищал на губной гармошке в одном клубе. Затем подался в Париж – торговал настоящим слоновьего бивня, укрепляющего память, поскольку слоны ничего не забывают, и макал багет в кофе. Сена понравилась – на наш Обводный похожа. Потом занесло в Амстердам... Про Голландию много чего болтают, но это всё херня – та же жопа. Я жил там сначала по визе, потом нелегалом. Наш сквот повязала полиция. Местных отправили на сто первый километр, остальных раздали по отечествам, если те принимали. Россия принимала – она тогда ещё смотрела Европе в рот, из которого несло лосьоном – знаете, такой специальный спрей, чтобы облагородить вонь нутра. Доставили самолётом прямо в «Пулково». Менты встретили, до нитки обобрали, но заначку в воротнике, в карманчике для капюшона, не нашли. Со злости я даже в город не поехал – тут же в аэропорту обменял последнюю валюту и купил билет до Минска. Перемена мест меня давно уже не пугала. Просто начинаешь доверять наитию, чутью – кривая и вывозит. В первый же день, гуляя по Минску, наткнулся на редакцию бульварной газетёнки. Зашёл поболтать – разговорились. Написал десяток очерков о европейских нравах. Потом, облазив город, перешёл на местный колорит – крысы-мутанты, пираньи в Свислочи, явление пришельцев на Минской возвышенности, извращенцы, прижимающиеся к девушкам в метро... Тогда на Белоруссию СМИ всего мира выплёскивали помой ушатами, но мне там нравилось. Мне нравилось, что земля в стране ухожена, поля засеяны, дороги хороши и обочины подстрижены не потому, что из пространства под ногами кто-то просто стремится извлечь выгоду, а потому, что так должно быть, если человек живёт на земле, проложил по ней дороги и распахал на ней пашню. Там у людей было чувство дома. Дома, о котором печётся крепкий и рачительный хозяин – ни от кого не зависящий и ни перед кем не лебезящий. Жить в таком доме одно удовольствие, если ты просто честно делаешь своё дело и не твякаешь, переполненный глупым чувством собственной значимости, на хозяина и стены. Но там, где я был прежде, все хотели хлеба, зрелищ и свободы твякать. Дом, в котором запрещают мочиться на углы и твякать, считается фашистским государством.

– Один человек сказал Сюнгаку: «Традиции Секты Лотосовой Сутры плохи тем, что в ней принято запугивать людей». – Егор на ходу пустил в небо облачко табачного дыма. – Сюнгаку ответил: «Именно благодаря запугиванию это Секта Лотосовой Сутры. Если бы её традиции были другими, это была бы уже какая-то другая секта».

– Умничаем, да? – Катенька забежала вперёд и заглянула с гневом в глаза Егору.

– А потом? Что было потом? – спросила Настя.

– Потом меня потянуло на родину. Ведь у меня была великая родина – я никогда не забывал об этом. В глубине сердца она всегда оставалась великой, даже тогда, когда сознание отказывалось в это верить. Я понял, что жить надо там, где родился. И строить такой дом, который был бы тебя достоин, надо там же.

– А зачем было голыми ходить? – Настя пнула босоножкой пустую сигаретную пачку, попавшуюся ей на дорожке Елагина острова.

– Долгая история, – ответил Тарарам.

– Я тебе потом расскажу. – Егор высосал из сигареты новый дым. – Я репортаж по ящику видел.

– Это история одной идеи, – сказал Тарарам. – А репортаж – так, пустое.

– Непобедимы те идеи, которым пришло время, – улыбнулся Егор.

– Хорошо сказал. – Настя опять неловко пнула пачку.

– Это не я сказал. Это сказал один британский сэръ на букву «че».

– У всякой вещи есть свой звёздный час. – Настя наконец кое-как наподдала пустой пачке, и та улетела на газон. – Цветы нарасхват восьмого марта и первого сентября, а яйца влёт идут на Пасху.

– Хватит умничать, – надула щёки Катенька. – Пойдёмте лучше на тарзанке прыгнем или пива выпьем.

– Хорошая альтернатива, – оценил Тарарам.

– Николай Первый наказанным офицерам тоже предоставлял достойный выбор, – снова улыбнулся Егор. – Либо гауптвахта, либо слушать оперу Глинки.

– Прикалываетесь, умники...

#### 4

– Надо жить полной, плещущей за край жизнью, – в глазах Тарарама прыгал бесёнок, – жить на всю катушку, испытывать жизнь на её предел, высекать из неё искры и самим становиться её блеском. Не в шкурном, разумеется, смысле...

– Но нам запрещено так жить, – возразил Егор.

– Кем?

– Господом Богом.

– Ерунда. Об этом мы вспоминаем лишь в беде, когда нас постигает неудача. Лишь в беде мы вызываем к Богу – так овцы, слышав волчий вой, жмутся к доброму пастырю в кудрявой овечьей шапке и тёплой овечьей шубе.

– Но беда – это и есть предостережение или наказание.

– Ерунда. Неудачи преследуют нас в любом случае, а не только тогда, когда мы нарушаем заповеди. Стой, как свая, и всех перешибёшь – вот главная заповедь. Покаяние человеку не к лицу. Покаяние нарушает цельность и красоту греха, как газ, вспучивший консервную банку. В результате мы видим лишь подпорченную добродетель, а этим блюдом не уладишь Бога и не обманешь совесть. Наш путь – не покаяние, а совершенствование, не плач о недостатках, а стремление к безупречности, не признание вины, а осознание ответственности за то, что мы делаем и чего не делаем.

– Поодиночке так не выжить, – задумчиво сказал Егор. – Так человека просто съедят. Съедят с ливером или изолируют, хотя бы и на свободе – окружают пустотой, вакуумом, который прекрасно защищает от шума и тишины, тепла и стужи, пыли и чистейшего озона, который выдыхает Бог. Чтобы так жить, нужна система, сообщество единомышленников. И ещё – идеология внутри системы. – Егор почесал затылок. – Нет, даже не идеология, а лидер, безукоризненный вождь, который мог бы авторитетно направлять – как, что и почему надо делать.



– Верно, – обрадовался Тарарам и потёр ладони. – Нужна система, общество с немилосердной иерархией. Где на вершине – вождь. – При этих словах лицо Ромы сделалось серьёзным. – Непогрешимая фигура – поводь по жизни. Под ним – ленивые и умные, элита и мозг сообщества. – Тарарам доверительно посмотрел в глаза Егора. – Они не слишком озабочены трудами и утруждены заботами, они любят, закинув руки за голову, лежать на мягком и расхаживать из угла в угол в халате, но именно они производят идеи, строят стратегию, отлаживают систему и продумывают ходы. Кроме того, ленивые и умные в силу лени не поражены пустым тщеславием, а в силу ума не посягнут на место первейшего. – Тарарам надменно закурил сигарету. – Следом за ними стоят умные и энергичные. От них толку меньше, поскольку размышлять и проникать в суть им мешает собственная предприимчивость, желание держать палец на пульсе и быть в курсе всего на свете. А также стремление выковать карьеру – это тоже мешает думать. – Тарарам выдержал паузу. – Энергичные и тупые – нижний ярус иерархии. Это – база, фундамент. На нём, собственно, всё и держится, так как своей ретивостью и способностью без рассуждений исполнять волю вождя энергичные и тупые хранят дисциплину, цементируют ряды и делают в глазах посторонних систему грозной. – Дым клубом встал перед лицом Ромы. – Ну а ленивые и тупые нам не нужны – это позорная слизь, гниль, мусор, их место во внешнем мире перед экраном с юмористами.

– Ты говоришь мне это, потому что уготовил место сразу под собой, в рядах ленивых и умных?

– Да. Всем, кто ниже, знать это нельзя.

– Спасибо за доверие. Мы четверо похожи на костяк модели...

– Хорошо, что ты это заметил.

– ...а Катенька, стало быть, как хвост в пасти змея.

– Надо же, об этом я не думал.

– Мне кажется, – опять почесал затылок Егор, – что-то подобное я читал у Мольте.

– Возможно, – легко согласился Тарарам. – В истории, культуре и семейном быте полно параллельных мест.

## 5

– А что бы ты сказала о театре... ну, скажем так, не понарошку? О театре, где у актёра нет места для внутреннего смеха? Где всё взаправду? Назовём это театр-явь. Или ещё проще – реальный театр.

– Как это? – не поняла Катенька. – Написано «кашляет» – и кашлять?

– Более того, – пояснил Тарарам, – написано «душит» – и душить. Входить в образ до конца, по самое некуда. Понимаешь? Сходить с ума и умирать по-настоящему.

– Так ведь через сезон актёров не останется.

– Если изменить правила, появится новая драматургия. Без смертей. Хотя совсем без них – куда же...

– Это нелепица. Ты шутишь?

– Почему нелепица? Это, дружок, новый театр с новой идеей и новой стратегией. Зачем наследовать балаган и потворствовать человеческим слабостям? Комедиант не интересен в жизни, и он перестанет быть интересен на сцене. Лариса Дмитриевна, которая завтра умрёт на подмостках от настоящей пули Карандышева, в миллион раз одухотворённее какой-нибудь Комиссаржевской – королевы притворства. Из театра уйдёт пресловутый психологизм, его заменит рок, тот самый – рок греческой трагедии, на руинах которой хохотал Аристофан, не понимающий, что юмор – всего лишь отложенная трагедия. Именно так – отложенная трагедия. И поэтому, как точно подметил Козьма Прутков, продолжать смеяться легче, чем остановить смех. – На миг Тарарам сбился. – О чём мы?

– О роке.

– Да, психологизму на смену вновь придёт рок. Только рок не шутовской, подложный, а чистопородный, первозданный. Трагедии в Греции игрались единожды, у нас будут играющие единожды актёры, актёры-гладиаторы. Сечёшь? Мы перечеканем монету и выведем из обращения подделку. Раз зрелище нельзя убрать из жизни, надо сделать его реальностью. Театр должен стать корридой. С какой стати актёр решил, что у него сто жизней? Нет уж: пошёл в профессию – ответь по полной.

– А это даже интересно...

– Конечно, интересно. Ты этим и займёшься. Будешь пионером нового театра. Как Петипа и Немирович-Данченко. Как Жене, Арто и Аррабаль в одной упряжке. Или, прости за выражение, Виктюк. Только твой театр вознесётся на десять этажей выше...

– Пионеркой.

– Что?

– Буду пионеркой. – Катенька засмеялась.

– Ну да... А что ты смеёшься?

– Представляю, как взаправду тает на сцене Снегурочка.

– Это, дружок, несущественная проблема.

– А почему я буду пионеркой? Ведь придумал ты?

– Тебе в общих чертах известны законы сцены. Ты понимаешь, что и где ломать. Ну и... В общем, мне порой кажется, что весь мир – порождение вполне человеческого ума, но... придуман, что ли, в безотчётной горячке – возможно, даже мной самим. Я не то говорю... Словом, раз сам придумал, что теперь – самому и шить, и жать, и на дуде играть?

– Я тоже, между прочим, могу что-нибудь придумать. Уже придумала даже.

– Что ты придумала?

– Новую запись той жуткой истории. Помнишь? «У попа была собака...»

– Ну?

– Удобнее теперь писать это вот так... – Катенька взяла ручку и вывела на конверте, в котором оператор рассылал распечатку мобильных трат: «У попа была @».

– Да... Знаешь что?

– Что?

– Ты лучше не придумывай. Я буду придумывать, а ты – бесподобно исполнять.

## 6

– Вербовать рекрутов в наши ряды, в ряды паладинов опричного ордена, надо прежде всего из кругов молодых маргиналов, – азартно витийствовал Егор. – Из кругов культурного андеграунда, злого, закалённого, недоумённо обывательской средой отвергаемого.

– Не следует забывать, – Тарарам был невозмутим, – что в сегодняшней альтернативке, как в любом пыльном подполье, полно обычных серых мышей, которых более пронырливые соплеменники просто не пустили жировать в амбар.

– Не следует забывать также, что андеграунд – по существу отторжение, отрицательная реакция на общество потребления иллюзий, жест неучастия в нём, своеобразная форма его социальной критики, проявленная не с булыжником в руке на баррикаде, а в ином – не общего лица – образе жизни.

– Ну и что?

– Но ведь и мы, в свою очередь, стремимся стать не чем иным, как строго организованным и чисто выметенным подпольем, добровольно обустроенным за гранью этических, эстетических и прочих норм пошлейшего, как ты выражаешься, бублимира.

– Однако мотивы бегства под пол бывают разные. Здесь, как и там, – Тарарам устремил палец вверх, в мир надпольный, – основная масса обитателей – балласт и гумус, аморфный, бесструктурный, никак не складывающийся в прообраз прекрасного нового мира, построенного по вертикали: снизу – к Божеству. Ведь отроки и девы спускаются туда, – Тарарам устремил палец вниз, – без тоски по костру и нагайке, спускаются в банальном поиске себя, так как всего лишь не разделяют взрослых правил жизни предков. Конфликт малявок и отцов, скрытый или явный, но вечно неизбежный в обществе, покинувшем благой покров традиции, толкает первых на потешный бунт против взрослости как таковой. Они принимают клумбу за непроходимую чащу. А ведь взрослость – всего лишь повышенная степень социализации, как в мире попранной традиции, так и в прекрасной империи духа, где правит служение и долг, а не желание расслабиться и наслаждаться процессом скольжения к смерти. Структурный, социальный, слишком жёстокий для них мир бунтующие дети воспринимают просто как мир взрослых. Вследствие чего их отказ подчиняться правилам этого мира приобретает комическую форму нежелания взрослеть.

– Что же в этом комического?

– То, что одновременно они не хотят выглядеть детьми. А выглядеть ребёнком боится только тот, кто ещё не повзрослел.

– Но взрослыми они боятся выглядеть тоже.

– Вот именно. Они хотят того и другого разом. Вернее, они ни того ни другого не хотят. В этом и беда. Они невольно блокируют своё психическое и культурное развитие на инфантильном уровне, а этот уровень не предполагает ответственности, продуктивной деятельности, созидания, его душа – потребление. Вот и выходит, что кругом удавка.

– Не знаю... – Егор остановил взгляд на горшке с цикламеном – цветок стоял на окне. – Но это всё-таки уже иное потребление. Ценностный ряд совсем не тот.

– А велика ли разница? Согласен, вкус их формируется в условиях отказа от массовой культуры, навязываемой взрослым бублимиром, и отличается, пожалуй, большей изощрённостью, заставляющей воротить нос от духовного хлёбова обывателя. И что в результате? У этих мальчиков и девочек из чистой стали, этих идеалов современника, замирает сердце не от писка изделий с конвейера «Фабрики звёзд», а от «Кирпичей», «Джейн Эйр», «Психеи» или, скажем, «Коловрата». Но в чём принципиальное отличие? И тут и там мы имеем дело не с познанием, требовательным развитием и созиданием, а с самоценным потреблением. Везде господствует частная сфера жизни, замкнутость на собственной персоне. Подполью не интересен мир взрослого обывателя, миру обывателя не интересны маргиналы. При этом и те и другие потребляют культуру, созданную не ими, находя себя и самоутверждаясь лишь в этом потреблении. Подпольщик, правда, сверх того, изощрённостью вкуса ещё и иллюзорно компенсирует собственную несостоятельность.

– Но ведь есть и творцы альтернативки, мотор нонконформизма.

– И тем не менее, дружок, твоя альтернативка – просто иное общество потребления иллюзий, его оборотная сторона.

– Так где же нам искать союзников?

– Надо опираться не на среду, а на шукарей – манипуляторов. Потому что манипуляторы, манипулируя, волей-неволей стремятся сохранить ясное, первичное, не искажённое наведённым мороком сознание. Иначе они сами станут манипулируемыми. А ведь нам так не нравится, когда с нами делают то, что мы позволяем себе делать с другими.

– То есть манипуляция не может стать тотальной? Кто-то всегда должен находиться вне сферы иллюзии, в капсуле чистой рациональности? Вернее, даже не рациональности, а такой кристальной атмосферы, где он, этот кто-то, адекватен самому себе?

– Нелепый вопрос – ведь сам ты не считаешь себя объектом чьей-то манипуляции. – Тарарам изобразил на лице приличествующее случаю удивление. – И потом, чтобы питать какие бы то ни было надежды, нам ничего не остаётся, как просто верить в то, что это так.

– Да, конечно, но я при этом не манипулирую... Нет, всё же нам нужны не эти, не манипуляторы, а люди, пусть и вовлечённые в скверный мир, но не подверженные иллюзии просто в силу того, что внутренне они существа иной природы и корни их тоскуют по райской земле.

– Между прочим, именно эти капсулы, недоступные для манипуляции, а её как раз производящие, по большей части и становятся источником отрицания манипуляции как таковой. – Тарарам разлил в рюмки водку – аккуратно, под край.

## 7

– Что-то я не понимаю... – Настя покусывала фисташковое мороженое в вафельном стаканчике.

– Да? – отозвался с готовностью Егор.

– У нас роман или масонский заговор?

– У нас роман. Плюс заговор. Только совсем другой, не масонский.

– А какой ещё бывает?

– Контрзаговор. Заговор с целью возврата реальности и обретения смысла.

– И что случится, когда мы обретём смысл?

– Жизнь станет достойна собственного имени – мы будем гневаться соразмерно своей силе, почуем в горле сладкий зуд, как соловьи в мае, и наша любовь раскалится до золотого каления.

## Глава 4. Бог театра

### 1

Жучок был такой маленький, что, упав на раскрытую книгу, потерялся в буквах.

Книгу Катеньке подсунил Тарарам – размышления композитора Рихарда Вагнера о значении, духовной мощи и красоте греческой трагедии. Чтение шло туго – Катенька была человеком действия, и продавцы слов, если они расфасовывали свой товар в крупную тару, наводили на неё уныние и скуку. То ли дело книжки её детства, наполненные цветной, прозрачной, хрупкой прозой, напоминающей коллекцию засушенных стрекоз... Впрочем, следовало отдать должное Вагнеру – его размышления, в отличие от размышлений философа Артура Шопенгауэра на тему той же греческой трагедии, также рекомендованных Ромой для ознакомления, занимали не очень много места в пространстве.

Где-то далеко, в лесу, гадала кукушка. Деревья застыли в свободных позах; зато в небе, под самым куполом, яростно гнал редкие белые хлопья облаков ветер родного и страшного мира. Предварительно встряхнув книгу, чтобы не похоронить в ней букашку, Катенька захлопнула томик и со второй попытки выбралась из подвешенного между двумя берёзами гамака. Яркий солнечный луч, пробившись сквозь июньскую листву, метко ударил ей в глаз, ослепил и заставил зажмуриться. Судя по положению светила относительно вознёсшейся у сарая сосны, было ещё довольно рано, часов девять – и что ей, Офелии, не спится?

Тугие ершистые шишки с робким хрустом пружинили под ногами. На солнце уже припекало, но осину у калитки бил озноб. Легко поднявшись на крыльцо, Катенька проникла на веранду. Вчера в открытое окно сюда набились бабочки – штук пять павлиньих глаз сидели сейчас на кружевных занавесках, открывая и захлопывая, как рекламный туристический буклет райского сада, свои чудесные странички, в стекло билась скромная боярышница, а парочка крапивниц облюбовала плетёную корзину-хлебницу.

В доме было тихо. Ступени деревянной лестницы чуть поскрипывали – не зловеще, предательски, глумливо, как в старом замке, полном привидений и кровожадных маньяков, а деликатно, извинительно, по-мышьиному, как в домике-прянике, населённом добрыми зверушками. На втором этаже Катенька, прошлёпав по коридору, заглянула в спальню, которую покинула минут сорок назад, – окно по-прежнему занавешено, сумрак, лишь букет белой сирени в вазе на столике освещал комнату. Тарарам, лёжа на спине и слегка посапывая, беззаботно спал. Впрочем, нет. Совсем не беззаботно – обстоятельства его утреннего сна сначала вызвали в вуайеристке Катеньке стыдливое любопытство, потом томительный соблазн, потом обжигающую ревность... Простыня, которой был укрыт Тарарам, вздымалась над его пахом, как японская гора Фудзияма.

Что за новости? Ревность распаляла Катеньку необыкновенно – делить Рому с каким-то дьявольским суккубом? Ну уж нет! Не дождётесь! Сбросив на пол сарафан и трусики, Катенька вступила в битву за своего мужчину. Простыня, спарусив и ненадолго зависнув в воздухе, отлетела в сторону. Зрелище вознесённого к потолку обелиска было столь великолепным, что глазам Катеньки сделалось жарко.

Тарарам проснулся, когда Катенька, решительно оседлав его, с лицом неподвижным и страшным, как античная маска, уже двигалась по сложной траектории – вверх, вниз, потом какой-то немыслимый ввинчивающийся штопор, вверх, вниз и... опять штопор. Всё шире и шире раздвигая бёдра, Катенька, словно в забытии, старалась нанизаться на предназначенную суккубу тычинку до конца, до трепещущей диафрагмы, до перламутровых альвеол, до куда хва-

тит... Наконец, едва не порвавшись, она закинула голову назад, а затем с криком рухнула Роме на грудь. В этот момент Тарарам тоже разрядился.

Чуть помедлив для полноты ощущений, Катенька приподнялась и с мокрым хлопком выпустила Рому на волю.

– Доброе утро, каменный мужик, – сказала она, ваясь на бок.

Тарарам поёрзал спиной по жёсткому матрасу.

– Подумать только, – хриловато, ещё не восстановив дыхание, изрёк он, – теперь люди рождаются и умирают, так и не узнав за всю жизнь, что значит утонуть в перине.

## 2

Родители Катеньки отдыхали на Мальте, так что дача на всю вторую половину июня оказалась в полном её распоряжении. Грех было этим не воспользоваться. Катенька воспользовалась. Восемь дней не без труда собранная труппа вдохновенно репетировала здесь грядущее представление. Теперь в общих чертах спектакль уже прорисовывался. Вчера комедианты-гладиаторы шумной толпой уехали в СПб, только Катенька и Тарарам, гостивший в доме как личный друг хозяйки и теоретик реального театра, остались тут, решив устроить себе тихий выходной. Все эти восемь дней Тарарам, прищипорив «самурая», летел с утра в «Незабудку», но в начале седьмого уже опять закатывал машину в ворота, благо дача была неподалёку – в Токсово. Сегодня Рома взял в цветочном тресте отгул.

Актёров в труппу набирали с бору по сосенке. Наличия профессиональных навыков у претендентов Катенька, как играющий режиссёр, не требовала – довольно было желания блистать и готовности пролить кровь на миру или как минимум просто пройти по сцене, точно по полю боя, где чувства всегда наружу и нет места жизни понарошку.

Троих – двух пареньков и девуцу – нашли в клубе «Point» на поэтическом шабаше. Юноши, попеременно овладевая микрофоном, отважно матерились, кое-как укладывая не слишком виртуозные обсцениумы в поэтические метры. Девуца не выступала, но, судя по решительной критике то и дело дребезжащих под сводами зальчика рифм типа солнце – оконце и брат – двоюродный брат, тоже в минуты вдохновения записывала слова в столбик. По крайней мере, было ясно – эти на подмостках не впадут в ступор. И то дело.

Ещё двоих Тарарам рекрутировал на странном вернисаже, куда отвозил заказанную в «Незабудке» корзину с флористическим шедевром, сооружённым из идеальных, так что на вид они казались пластмассовыми, и совершенно не пахнущих (вся жизненная мощь ушла на внешнюю прелесть) калл, лилий и гербер с добавлением пучков какой-то гибкой травки. На вернисаже, через десять минут после произнесения кратких торжественных речей, художники принялись швырять в зрителей парное мясо и пожирать колбасы и разнообразные копчёности, из которых, собственно, и были изваяны скоропортящиеся живописные композиции. С Ромой был Егор, который зашёл в «Незабудку» поболтать и за компанию поехал отвозить корзину. Один кровотокающий бифштекс сыро шлёпнул его по уху. Егор серьёзно собрался начистить художникам морду, и Роме с трудом удалось его убедить, что это не злоумышление и не намеренный цинизм, а просто здешние художники на самом деле такие бездарные и есть. «Ненавижу я ваше актуальное искусство», – сказал Егор. Тарарам удивился: «Откуда такие сильные чувства?» – «Оттуда, – сказал Егор. – Однажды я на финнов посмотрел, которые художественно убивали кошек – помнишь, их Савчук привозил? – с тех пор и ненавижу». – «Тем бы я и сам яйца оторвал», – признался Тарарам. «А чем твой реальный театр лучше?» Рома не согласился – он имел собственное мнение об актуальном искусстве, и оно было куда более щадящим.

В итоге после содержательной беседы о генеральных путях перформанса в области художественного самоизъявления, где субъект высказывания пытается собрать себя в акте распыления, двух мастеров мясного дела удалось привлечь к Катенькиному театральному проекту.

В качестве резерва оставались ещё несколько человек из числа тех, кто участвовал в параде голых. Во всяком случае раблезианствовавший перед торговцами с Ямского рынка бесстыдник и вернувшаяся из Воронежа девушка Даша, подпав под обаяние Роминых речей, дали согласие с полной самоотдачей прожить на сцене какую-нибудь средних размеров роль.

Впрочем, несмотря на все старания, театр всё равно получался компромиссным, половинчатым – никто из актёров не был готов умереть в процессе представления по-настоящему. Тарарам думал: «Лиха беда начало».

Перед домом, на усыпанной там и сям шишками с плодоносящих сосен поляне, обходясь минимумом реквизита (табуретки, стол, старый чемодан, подгнившие штукетины), под бдительным Катенькиным оком день-деньской резвилась самодеятельность. Катенька вошла во вкус, была азартна и требовательна, спуска никому не давала. Вернувшийся из «Незабудки» Тарарам смотрел, давал советы, ходил на озеро купаться, прикладывался к рюмочке и производил небольшие проповеди.

– Реальный театр создан не для того, чтобы показывать жизнь во всей её фальшивой, обуженной и потому неприглядной трагичности, – вылезая из машины, сообщал артистам Рома. – И не для того, чтобы давать пищу уму, объясняя зрителю путаницу обстоятельств той мнимой действительности, в которой он живёт. И уж конечно не для того, чтобы побуждать зрителя к самостоятельным действиям и учить его свободе выбора. Всё это, в лучшем случае, удел театра низких истин. Реальный театр создан затем, чтобы забить осиновый кол в коренную грибницу самого этого мнимого существования. Потому что мнимость – главный чёрт из царства злобы. Она не даёт нам воздуха для вдоха, как натянутый на голову полиэтиленовый мешок. Она тешит надежды иллюзиями свершений, предлагая купить победу в модной лавке. Чем дышать? К чему приложить силу жизни? Не ваше дело отвечать на эти вопросы, потому что на них нет годного для всех ответа. Ваше дело – погрузить зрителя в сгущённую, брызжущую красным соком реальность, а не в её условный сценический образ, и тем вызвать в человеке истинные чувства, которые не способны вызвать зрелище, отчуждённое от действительности. Всё остальное сладится само – эти истинные чувства найдут в каждом свои пути, опалят изнутри и одарят сознанием неповторимой подлинности бытия. Дети всерьёз играют в свои игры и всерьёз проживают свои книги, потому что с детства ещё не стёрто дыхание рая. Взрослые за играми и книгами лишь убивают время. В этом виноваты не только взрослые, но и их игры, их книги. Дайте им новые игры. Предъявите им эталон жизни всерьёз. Эталон жизни неумолимой и прекрасной. А что может быть серьёзнее и прекраснее готовности с неустрашимым взором идти на смерть? Что? Лощёная мечта хлебать на пляже под зонтом дайкири?

На некоторое время поляна погружалась в глубокомысленную тишину.

– И как же мы, мать ети, этот неумолимый и прекрасный эталон предъявим? – вопрошал наконец один из поэтов.

Рома отвечал:

– Люди, делающие дело с любовью, становятся чертовски изобретательными.

Потом Тарарам поднимался по ступеням крыльца в дом и через минуту выходил с висящим на шее полотенцем. Дабы не сбивать ритм репетиций, с собой на озеро он никого не звал.

После купания он возвращался посвежевшим и с новой мыслью в мокрой голове.

– Бог заботится о тараканах, – говорил Тарарам изнурённым артистам, – посылая им лакомые хлебные крошки и вкуснейшие объедки в мусорном ведре, чтобы было чем кормиться их быстроногому племени. А дьявол поливает окрестности ядовитым спреем и ставит на тараканов ловушки «Раптор» и «Фумитокс». – Рома вывешивал сырые плавки на натянутую у сарая верёвку. – Человек – таракан, поставивший себя в центр мира. Из таких тараканов и

состоит население. А знаете ли вы, друзья, чем население отличается от народа? Что есть народ, известно ли кому из вас? Извольте, я скажу. У населения нет никакой внутренней идеи для жизни, кроме получения благ, тех же крошек и объедков из мусорного ведра Бога, – этим оно и отличается от народа. От народа, который состоит из людей, имеющих волю на дюжину жизней. Потому что если у тебя нет воли на дюжину жизней, ты толком не проживёшь и одной. А население живёт, будто катится на «ватрушке» с ледяной горы в невидную издали, но неизбежную пропасть, живёт по инерции – как живётся. И мальчиков у населения рождается меньше, чем у народа, потому что мужчиной быть опасно. Куда опаснее, чем быть женщиной. Ведь мужчина не должен захлопывать дверь перед носом явившейся ему судьбы, как бы страшна она ни была. Даже если эта судьба – смерть. Или он не мужчина.

Юноши внимали. Девицы не соглашались. Но Тарарам, шлёпнув на загорелой руке комара, спокойно заканчивал речь:

– Потому что и смерть в итоге служит добру – живи человек вечно, его смертные грехи стали бы бессмертными.

Проходило время, репетиция шла своим чередом. Тарарам читал книгу, выпивал рюмочку, потом снова шёл купаться и возвращался, осенённый следующей мыслью:

– Эфирная реальность сделалась настолько эталонной, что теперь иные люди, желая крепко выругаться, говорят: «Пи-и-и». Не уподобляйтесь этой бесхребетной дряни. Идите сквозь жизнь, расталкивая лужи и не оглядываясь на раздавленных выползков. И не впадайте в публицистику, берегите слова для дела, ведь публицистика – обратный полюс наркомании. Одни галлюцинируют внутри себя, другие – снаружи. Переступив определённую черту, и те и другие перестают адекватно воспринимать окружающий мир. Вам это не к лицу. Не забывайте: вы – гладиаторы. А гладиатор – это не участь, это высокое призвание. В Древнем Риме нередко в гладиаторы шли свободные граждане, желавшие снискать блистательную славу перед лицом самой смерти. Этих людей не останавливало даже то, что при таком решении им приходилось отказываться от своих законных прав и признавать себя юридически мёртвыми. Эти люди не говорили «пи-и-и», они знали: где кровь – там правда, где кровь – там истинное испытание духа, без которого жизнь пуста, как выеденный червём жёлудь, из которого уже никогда не вырасти дубу. Но не всем, увы, есть место на поле битвы. Да и самой битве, увы, не всегда находится место в мире – не каждый день нам Бог пошлёт войну. Жажда блистательной славы была в Вечном Городе столь велика, что Нерону пришлось издать указ, допускающий к участию в гладиаторских боях свободных женщин. Вот где истинная слава Рима! Вот где его подлинное величие! Так испытайте же свой дух и превзойдите всех, кто жил в иные времена. Ваш реальный театр пойдёт дальше Колизея – ведь гладиаторы на арене должны были хранить молчание, так что им приходилось объясняться лишь жестами, за вами же останется и слово.

– Женщины-гладиаторы? – напрягал воображение один из мясных художников. – Прикольно.

– У свиней свой взгляд на бисер, – невозмутимо отвечал Тарарам.

### 3

Когда Катенька и Рома остались на даче одни, Катенька не выдержала:

– Ну, как тебе?

– Что?

– Как наш театр?

Они стояли возле железной калитки, прутья которой цвели ржавчиной.

– Плохо.

– Почему? – искренне удивилась Катенька.

– Дружок, пока что сделано полдела. Даже меньше.



Катенька, ожидавшая похвалы, надула губы.

– Но почему? Мы же выкладываемся, точно черти. Так себя изводим, что в глазах темнеет. Рвём жилы, как ты хотел.

– Самим прожить историю по-настоящему – этого мало. Надо, чтобы и все, кто это видит, кто, пусть невзначай, оказался рядом, прожили так же. Надо, чтобы именно то, что вы делаете, стало для них на это время жизнью, именно ваша история, а не ждущая дома размороженная курица, жмушие ботинки или хрустящая фольга от шоколадки. Зрителя необходимо вовлечь, он должен не сопереживать, а испытывать чистые чувства, как в лесу перед вставшим на дыбы медведем, испытывать чувства первичного, подлинного мира, главные из которых – любовь, восторг и ужас. А я смотрю на вас, и в голову мне лезет всякий вздор, вроде рецепта сливового компота на водке.

– Так это просто голова у тебя нечеловеческая, – облегчённо вздохнула Катенька. – Если бы у меня такая была, я бы её, ей-богу, усекла. С такой головой ни «ОМ» не полистает, ни фигурное катание не помотришь. Жуть!

Тарарам Катеньку не слушал.

– Вы – плохие актёры. Но в этом и суть. Реальному театру нужно не профессиональное мастерство с его вживанием в характер, отточенными движениями и поставленной речью, а искренность и одержимость. Нужен азарт преобразования и готовность идти в этом азарте до конца. Репетиции, где вы, как вам видится, выкладываетесь, точно черти, могут прочертить лишь карту этого пути и помочь набрать градус пьянящего неистовства, а сам путь вам предстоит пройти на сцене, на премьере, и пройти лишь единожды, как единожды люди рождаются и умирают.

Над посёлком висел настоящий на сосновой хвое зной. Вдали, словно несусветная птица, свистела электричка.

– Мы пройдем, – заверила успокоившаяся Катенька. – Мы уже завелись, как часики на бомбе. Но где она, эта сцена?

Тарарам снисходительно осклабился.

– Играть будем в музее Достоевского, в чёрном зале. Я обо всём договорился. У нас есть ещё две недели, чтобы освоиться на площадке, придумать декорации и поставить свет.

У Катеньки был разгрузочный день, поэтому завтракал Рома в одиночестве и скромно – стакан чая и бутерброд с кабачковой икрой. Чтобы не искушать. Да, собственно, примерно так он обычно и завтракал. Потом пошли гулять в сторону зубробизоньей фермы.

Над полем плыл сладостно прогретый и пахнувший травами воздух, в клевере гудели мохнатые шмели, ласточки влетали в дырявый берег затопленного карьера.

– Знаешь ли ты, – поинтересовалась Катенька, – что первый президент Америки Джордж Вашингтон владел рабами и выращивал на своих полях коноплю?

– Ну, что же... Мир был бы вполне путёвым, если бы каждый здесь занимался своим делом и позволял тем же самым заниматься другим. – Тарарам сорвал пушистый одуванчик и дунул так, что у того разом облысело темя. – Но, к сожалению, в мире слишком много мудозвонов. Так много, что это уже почти невыносимо.

– Кого много?

– Мудозвоны, дружок, это такие люди, отличительным признаком которых является доподлинное знание, как всё сделать правильно, и полная уверенность в своей непогрешимости. Поэтому мудозвон не может заниматься собственным делом – он специалист по влезанию в чужие дела. То, что творится в политике – только верхушка айсберга. Вся наша жизнь проедена мудозвонами, как старый гриб червями.

– Так не надо позволять мудозвонам лезть в свои дела, – решила задачу Катенька.

– Верно. Но это возможно лишь в том случае, если ты гол и не стяжаешь соблазнов мира со всеми его расписными погремушками. – Тарарам бросил обдутый одуванчик под ноги. – Хотя и тогда тебя будут обольщать стяжанием, повсюду предлагая купить, надеть, воспользоваться... И тут, если ты осознаешь своё нестяжание всего лишь как отсутствие возможности в данную минуту купить, надеть, воспользоваться, ты всё равно пропал – рано или поздно мудозвоны тебя достанут. Ну а всем прочим не стоит даже помышлять о том, чтобы что-то мудозвонам не позволить, даже если их уже достали дальше некуда, даже если они хотят, очень хотят не позволять... Представь только, что бы вышло, если бы я в свои лета, будучи обременён семьёй, карьерой, ипотечным кредитом, полезной дружбой с добропорядочным начальством, вдруг встретил бы тебя и полюбил.

– Здорово вышло бы.

– Чистое самоубийство. Полное обнуление. Жизнь с чистого листа.

– Зато будет что вспомнить.

– Единственный плюс. Беда в том, что люди не в силах противостоять мудозвонам, поскольку они – простые обладатели вещей, порабощённые собственным обладанием. – Дорожка под ногами пылила тонкой пылью. Вдалеке уже показалась ограда зубробизоньего питомника. – Назойливые советы доброхотов, рекомендации, нетерпимость в отношении того, как ты делаешь своё дело и проживаешь свою жизнь – лишь самые очевидные из всех возможных вторжений в твою суверенность. Владея чем-то, ты делаешься зависимым от своего владения. И всякое прикосновение к твоему владению, будь то гвоздь на дороге, пропоротивший шину твоей «маздошки», или повышение цены на цемент, который нужен тебе, чтобы доделать фундамент дачного домика – тоже, по существу, влезание в твои дела, от которого ты не в силах оградиться. А поскольку большая часть вещей, которыми владеют люди, совершенно им не нужна, но при этом они от них добровольно нипочем не откажутся, то наша уязвимость перед мудозвонами воистину ужасающа.

– Опять ты всё запутал, – огорчилась Катенька. – Я думала, вот разливаю я солянку, а мне кто-нибудь под руку говорит: «Лимону! Лимону больше клади!» Вот это и есть мудозвон – он влезает в мои дела. А ты: обладатели, порабощённые обладанием... Я этой казуистики не понимаю. И потом, при чём здесь «маздошка»? Твоего «самурая» что, гвоздь не берёт?

– Берёт, – признался Тарарам. – Но я вынужден смиряться, потому что для меня «самурай» как конь для батыра. – Рома на миг задумался. – Да, как конь для батыра и, одновременно, как его юрта. Он необходим мне, чтобы доехать туда, куда не ходят трамваи – с ним я доберусь в любую глушь моей огромной родины. А для тебя «маздошка» – мультяшка, статусная штучка, что-то вроде стильной сумочки или понтового зонтика. То есть вещь, имеющая больше отношения к демонстрации собственной элегантности, чем к необходимости. Ездил бы ты, такая красивая, в метро, тобой бы все любовались, бедные студенты бы с тобой знакомились. А так ты за рулём на светофоре красишь губы, из-за чего пропускаешь зелёный свет, и поворачиваешь на перекрёстке налево из правого ряда, забыв включить поворотник. В итоге все тебя ненавидят.

– Да ты сексист! Верно Настя сказала... Мужлан! Варвар! Что я слышу? Какой-то рык из пещеры!

– Я всего лишь говорю, что ты владеешь ненужной вещью, которая делает тебя уязвимой перед мудозвонами, но от которой ты ни за что не откажешься.

– Ещё чего! Скажешь тоже! Может, и от губной помады отказаться?

– Впрочем... – Тарарам задумался. – В метро ты тоже будешь полностью во власти мудозвонов.

Они подошли к ограде, за которой топтался косматый, бурый, широколобый, с проплешиной в клочковатой шерсти на крупе зубробизон не очень выразительного размера. Поодаль, метя луг бородами, паслись два его горбатых сородича, на вид чуть крупнее. Катенька достала из пакета половинку ржаного хлеба.

– Нестяжание – это не отказ от радостей мира и вещей вообще. Это стремление довольствоваться лишь необходимым и умение находить в таком стремлении сладость. – Казалось, Тарарам обращался не к Катеньке, а к облизывающему морду лиловым языком зверю. – Нестяжающий человек – свободный человек. В его дела куда сложнее влезть. Во всяком случае он гораздо лучше защищён, а следовательно, вполне способен не позволить мудозвону туда влезать. Но это лишь одна сторона свободы. Другая состоит в том, что нестяжающий человек волен принять вторжение, если оно определено условием общего долга. Только перед общим долгом нестяжатель имеет право смирить гордый дух.

– А что такое «общий долг»? – Катенька с боязливым восторгом кормила зубробизона хлебом – по существу, это уже был не зверь, это была скотина.

– Общий долг, – серьёзно сказал Тарарам, – это наш следующий проект.

Некоторое время Рома наблюдал, как поручневший отпрыск двух вольных предков загребаёт губищами с Катенькиной ладони куски хлеба, и вдруг резко, оглушительно, по-разбойничьи свистнул. Катенька с писком отёрнула руку, зубробизон ошалело шархнул в сторону, крепко, до мощного содрогания целой связки секций, лягнув ограду, и лишь метрах в семи, преодолённых в два прыжка, настороженно замер, кося на людей диким глазом.

– Вот, – удовлетворённо сказал Тарарам. – По напряжению именно такое чувство должен будить реальный театр в зрителе, который пришёл на спектакль всего лишь вкусить безобидного зрелища. Именно такое – до дрожи пробирающий восторг или дикий ужас, от которого кровь в жилах начинает бежать винтом, как бензин в воронке, как пуля в нарезном стволе.

#### 4

Тарарам действительно обо всём договорился. Он прожил в СПб целую жизнь, ну или по крайней мере такой срок, в который небольшая, но пёстрая жизнь вполне способна уложиться, – там было полно встреч и расставаний, приключений и страстей, это была жизнь подвижная, текучая, порой успешно, а порой тщетно стремящаяся ускользнуть от покрова иллюзорности, – немудрено, что со временем в руках у Ромы сам собой сложился пучок всевозможных (по большей части, впрочем, совершенно бесполезных) связей. Одна ниточка из этого пучка как раз и тянулась в музей Достоевского.

Две недели труппа с утра до позднего вечера, пока не начинал скандалить ни черта не секущий в высоком искусстве охранник Влас, живущий по часам, как кукушка в ходиках, репетировала свой спектакль в пустующем по случаю лета чёрном зале музея самого петербургского классика. Две недели на раскинувшем по соседству с музеем свои ряды Кузнечном рынке скисала в бидонах сладкая сметана, небывалыми тучами плодились мухи, покрывались плесенью и пролежнями фрукты, били хвостами копчёные угри. Две недели крутились в небесах над перекрёстком Кузнечного переулка и бывшей Ямской улицы яростные незримые вихри, присутствие которых выдавал лишь угодивший в их бешеную круговерть последний тополиный пух.

Возможно, благодаря чётко и верно поставленной задаче или тому, что Тарарам лично подключился к руководству процессом, актёры преобразились. В них словно пробудились и забили источники спавших доселе энергий. А может, они лишь безупречно настроились на то, чтобы, как рог, в который дует Нимфрод, одетый в сшитые Богом для изгнанного Адама одежды, как жилистая, кожистая, мясная труба, стать послушным проводником иных, нечеловеческих сил, заставляющих зверей падать перед великим охотником ниц. Но так ли важно, в чём была причина их преображения?

Декорации своими силами изваяли самые простецкие – тканевые драпировки по стенам плюс раскладные ширмы, расписанные с двух сторон таким образом, что при их перестановке вид сцены менялся в соответствии с ходом действия. Свет тоже был примитивным – в скром-

ном зальчике на сорок мест было не разгуляться как по условиям пространства, так и по обстоятельствам полного отсутствия бюджета. И тем не менее... И тем не менее реальный театр произвёл форменный фурор, доведя явившихся на представление зрителей до неистовства.

Известный театральный критик, бог весть как очутившаяся на этом внесезонном спектакле (впрочем, она поясняет как), спустя четыре дня следующим образом в своей театральной колонке описала случившееся:

*Признаюсь честно, я до сих пор не понимаю, что произошло. Дешёвые афиши неведомого «Реального театра», размноженные на копировальном аппарате и расклеенные по городу на водосточных трубах, никогда бы не привлекли моего внимания, не поставь в своё время Дитятковский в галерее «Борей», по существу в совершенно не сценических условиях, приснопамятный «Мрамор». Вероятно, в надежде на повторение чуда я и оказалась 10 июля сего года в музее Достоевского, где вышеупомянутый театр свил себе гнездо.*

*Не сомневаюсь, этот день я запомню надолго. Уже в фойе, возле стойки ненужного по случаю ясной погоды гардероба, начались неожиданности. Два молодых человека неопытной наружности устроили небольшое бесчинство. «Что за дрянь! Здесь не будет фуришета! – возмущались они. – Дикость! Мы пришли сюда пожрать – нам даром не нужно искусство! Вернисаж и премьеры тем только и хороши, что на них можно набить пузо и напиться на халяву! Колбаса важнее всех ваших грёбанных произведений! Делайте, на здоровье, своё искусство, чтобы у нас и впредь был повод подкрепиться! И не смейте шельмовать!» Пришедшие на спектакль зрители сперва робко расступались перед скандалистами и негромко возмущались по поводу возмущавшихся громко. Потом их начали стыдить, и в конце концов несколько мужчин, осмелившихся блеснуть мужеством перед своими дамами, посредством грубой силы вывели дебоширов за двери. После того, как инцидент рассосался, все прошли в зал. И только спустя четверть часа, увидев одного из давших бузотёров на сцене, я поняла, что представление началось ещё в фойе.*

*Реальный театр давал пушкинские «Маленькие трагедии» – банальней некуда. Однако то, что происходило на сцене, не поддаётся не только описанию, но и осмыслению. Вернее, впоследствии, восстанавливая в памяти ход действия, я видела обноски вместо костюмов, простенькую сценографию, откровенно любительскую с точки зрения актёрского мастерства игру и строгое следование авторскому тексту. И всё. Ничего больше. Но там, в затемнённом зале с чёрными стенами, было полное ощущение погружения в мистерию, в плотное пространство истинной страсти и подавляющей воли. Не режиссёрской и вообще не человеческой – воли рока. А между тем ощущения подавляющей воли нет даже в самом пушкинском тексте. Есть страсть, есть глубина переживания, есть остроумие и дыхание тонких чувств, но воли рока, извините, нет. А там, в зале, была! И подлинность этого мощного ощущения я со всей ответственностью свидетельствую. Размахивая руками и декламируя всем наизусть знакомые строки, актёры словно бы изливали в зал какие-то незримые энергетические токи. Меня не покидало тревожное ощущение сгущённой, сверх меры заряженной среды, которая вот-вот исторгнет из себя испепеляющую молнию. Должно быть, экстаз коллективного моления дарует случайному зрителю похожие впечатления. Не знаю, производили ли актёры, подобно живым генераторам, эти токи в себе или, подобно шаманам и медиумам, просто пропускали сквозь себя потусторонние, кромешние импульсы и вибрации, однако результат был налицо – облако чистого вещества страсти, неуправляемой тревоги и немотивированного ликования заполняло зал. Все зрители, затаив дыхание, ощущали это – подобную полноту проживания сценического действия, в котором словно бы раскрылся космос со всей его ледяной неизбежностью, мне видеть ещё не доводилось, а уж чего, казалось бы, мы только в театре не насмотрелись. От неприкрытых дряблых телес народных артистов до гуляющих по сцене домашних животных.*

Увы, остаётся лишь предполагать, что реальный театр готовил нам вслед за столь поразившим зал «Скупым рыцарем», поскольку спектакль был остановлен – актёр, игравший старого барона, умер прямо на глазах публики. Безо всякой фигуральности – умер, как того и требовал авторский текст. Он побледнел, схватился за ворот, прохрипел: «Душно!.. душно!.. Где ключи? Ключи, ключи мои!..», и рухнул, содрогаясь в конвульсиях. Одновременно зал в прямом смысле слова трянуло, словно весь дом подскочил на месте, и тут же звонко взорвалась лампочка в софите, просыпавшись в секундной тьме каким-то зелёным дождем. Сидевшая рядом со мной зрительница оплыла на стуле в натуральном обмороке. Я не склонна переоценивать актёрское искусство, но в тот миг подумала: «Гениально!» Герцог сказал: «Ужасный век, ужасные сердца!», и скрылся за ширмой. А барон всё лежал, уже неподвижно и чуть разомкнув побелевшие губы. Потом из-за ширмы выскочили актёры и стали тормозить барона – тщетно. Он был мёртв. В зале началось смятение.

Почему-то в тот миг у меня даже мысли не возникло о какой-то уловке, каком-то подвохе. Тем не менее я дождалась приезда неотложки. Врач зафиксировал смерть. Предварительная причина: обширный инфаркт миокарда. Актёру на вид было едва за двадцать.

Два дня я пребывала в трансе – и от самого спектакля, и от его в полном смысле трагического финала. На третий день мне пришла в голову мысль, что раз дебош в фойе был инсценировкой, то и врач неотложки тоже мог оказаться лицедеем. Однако, прислушавшись к своим ощущениям, я отвергла эту мысль как кощунственную. Нет, так притвориться мёртвым нельзя. Без сомнения, всё было подлинным – сценическая жизнь оказалась прожита насмерть. Эти отважные ребята, вооружившись, возможно, рискованными спиритическими практиками, просто вызвали в тот скромный зал бога театра. Вызвали, и он пришёл. Не их вина, что этот бог оказался кровожаден и потребовал жертву. Что же, дела с богами и духами (пусть это всего-навсего духи сцены) редко сводятся к невинным шуткам – голодный дух всегда стремится овладеть подвернувшимся телом, таково его заветное влечение, и будьте уверены, он непременно разрушит захваченное обиталище, прежде чем будет вынужден его покинуть. Никогда не следует упускать этого из вида.

В обстоятельствах того вечера мне показалось неуместным знакомиться с режиссёром постановки (в афише не было указано ни одной фамилии, так что и режиссёр, и актёрский состав «реального театра» анонимны). А жаль! Не побоюсь предположить, что на нашей театральной сцене обозначилось явление, которое способно по-настоящему, без суетливого новаторства в области формы и самозванного перекраивания классической драматургии, смутить умы и чувства, явление, достойное не только пристального внимания, но и дающее новую, высокую цену самому обесцененному слову «театр».

## 5

Как случилось, что Катенька забеременела, она не поняла сама. Точно была в забытии, потом очнулась и – бац – готово. Этого не должно было произойти, никак не должно – она считала дни до и после и всегда знала, когда можно увлечься, заиграться, потерять бдительность, а когда – ни в коем случае. И как решила: «Буду рожать», тоже не поняла. Словно попала в как-то иначе закрученное пространство, завитую обратной улиткой галактику, где обстоятельства и решения сваливались на голову без причин, подавались к столу в готовом виде – в виде состряпанной кем-то всемогущим, уже поперченной и пропечённой данности, обусловленной капризной природой сна.

Поначалу тугой животик забавлял её. Одолевая лёгкую тревогу, Катенька то и дело любовалась образованием, похлопывала, поглаживала его и отмечала, как растёт, растягивается вместе с кожей ещё недавно такая крошечная родинка. Потом неожиданно наружу из тёмной норки вылез белый пупок, и живот стал пугающе быстро округляться, бугриться, в нём что-то

заворочалось, оживилось, затолкалось, сверху проступила бледнотабачная пигментная полоса, а снизу его взбороздили какие-то бледные, похожие на тонкие рубчики, вертикально направленные штрихи, будто кожу тянули на разрыв, и она уже трещала. Катенька была в ужасе. Ужас окатывал её и прожигал до корней волос, как волны горячего пара на банном полке. Рома успокаивал, делал добрые, понимающие глаза, утешал, и у него получалось – ведь Катенька, подобно прочим женщинам, верила не правде, а тому, что хотела услышать.

Схватки начались в конце пятого месяца. И тут же пошли воды. Катенька вовсе не была уверена, что сама строго сочла срок – он тоже свалился на неё данностью, готовой цифирью, измеренной кем-то всемогущим, ответственным здесь за всё, вплоть до порождения следствий без причин.

Однако в верности подсчёта Катенька не сомневалась, поэтому тут же и обмерла в жутком оцепенении, убитая очевидной довременностью события. Где были её родители, в чьём доме она жила? – Катенька не понимала, всё в разуме её смешалось, всё окутывал жаркий, пульсирующий страшными цветными пятнами туман. Роме, с трудом сдерживающему ставший вдруг шустрым, скользким, убегающим взгляд, только благодаря этому оцепенению, пожалуй, и удалось уговорить Катеньку не вызывать скорую, а рожать дома, в ванне, прямо в воду, как было модно, помнится, рожать в конце восьмидесятых. Он даже, змей, предположил, что и саму Катеньку, вполне возможно, уродили точно так же. Вот, тоже, выдумщик, чертяка, бестия...

Катенька очень боялась. Она лежала в тёплой воде и смотрела, как колышутся её потяжелевшие груди, как вздымаются над волнующейся гладью, закрывая полочку с шампунями, гелями и кремами, её разведённые, согнутые в коленях ноги, как выпирает вверх совершенно чужой, бугристый, похожий на голову спрута, живот. Тарарам был рядом. И всё равно Катенька очень боялась... Так боялась, что чувствовала, как вылезают из орбит глаза.

И всё же родила она на удивление легко, как зверь, как курица, как муравьиная царица.

Ухватившись за края ванны, подтянувшись на локтях и подобрав ноги, Катенька склонилась (попутно отметив, что живот её сдуслся, точно обвисший на кустах парашют) над помутневшей водой, из которой Тарарам вылавливал склизкое дитя. Увидев наконец пойманное, заверещавшее на первом выдохе существо, она обратила полное ужаса лицо к отцу этого существа и, немея изнутри, зашептала:

– Почему? Почему? Почему?..

– Что? – Рома улыбался, но лицо его при этом было нехорошим.

– Почему? Почему? Почему?!

– Да что такое? Что?

– Почему? Почему? Почему ты не сказал мне, что ты – не человек?!

Над городом давно сомкнула крылья летняя ночь. Тарарам стоял с сигаретой у открытого окна и смотрел на спящую Катеньку. Та, разметавшись, будто Шива в танце, на смятых простынях, трогательно хмурила брови и что-то жалобно бормотала во сне. «Почему? Почему? Почему?..» – разобрал слетавшее с Катенькиных губ трепетание Рома. Тревожный её сон не нуждался в оправдании – Тарарам сам был изрядно сбит с толку. Внезапная смерть одного из поэтов, столь удивительно принявшего предписанную театральной ролью участь, не то чтобы стала для Ромы неожиданностью – напротив, чего-то похожего ему как раз добиться и хотелось – но остальную труппу эта история полностью деморализовала. Видимо, сама природа театра противоречила реальности – по крайней мере, в части добровольного, а тем более невольного следования за персонажем в могилу, возможность, если не неизбежность, какового следования явилась на первом же представлении во всей своей неодолимой красе. А ведь на очереди там, в музее Достоевского, ещё, само собой, были «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во время...». Умирать, то есть играть, теперь никто не хотел. Умирать не хотели и тогда, но играли, а теперь... Так немудрено было и охладеть к идее.

Здесь, на уровне четвёртого этажа во дворе-колодце дома на Стремянной улице, серая июльская ночь пахла балтийским ветерком, остывающей жестью крыши и совсем немного – варёной курицей из чьего-то распахнутого кухонного окна. «И тем не менее... – думал Тарам. – И тем не менее что мы имеем? Немало. Мы выяснили, что реальность, случись надавить на неё с упорством, вдохновением, всерьёз, сдаётся, щёлкает, как мячик для пинг-понга, и тут же из-под целлулоида, из трещинки в тугом боку, стреляет молния. То есть бьёт струйка той чародейской метафизики, которая живёт внутри реальности, как пламя в спичке. Ну или как зрение в глазу». Рома помял ладонями лицо, несколько огорчённый неопределённостью вывода. «Но ведь было же, было что-то ещё, что-то невероятное... Что-то ведь я почувствовал...»

### Улиям

Улиям приятен мне. Потому что всегда приятен желанный плод трудов.

В сыром городе, окуреном нефтяными дымами, вокруг конфетной фабрики витает сладкий дух какао и ванили. Там варят шоколад – счастье лакомок. Прохожие вдыхают аромат и улыбаются под масками своей суровости. Там, под масками, им видятся детские сны. А запаху всё равно. Шоколад и его дух не знают, что для кого-то стали усладой. Люди, научившись жить во лжи, уверяют, что вещи заботятся о них. Но это не так. Вещи о них не заботятся. Вещи о них думать не думают. По большому счёту, вещам на них плевать. Человек создал лакомство для радости, не спросив какао и ваниль, хотят ли они этого, согласны ли угождать. Вот и я не спросил человека, запустив его в свою давяльную, согласен ли он стать пищей. Его дело – сидеть на грядке ровно.

Улиям – аромат моей фабрики. И её шоколад.

Позднее раскаяние за нелепость набитой пустяками жизни, которое разрывает сердце человека перед престолом вечности, – моё лакомство. Там, у престола, открываются глаза слепцов, и я – ветер перемен, вечно голодный дух – слизываю слёзы с лиц обречённых, выжатые предсмертным ужасом. Их липкий пот, сочащийся у врат извечной тьмы, – моя амброзия. Ступив за порог, переменить жизнь, пережить её, они уже не властны. Мука безвозвратности – фимиам моего жертвенника. Мне нужно много пищи. И я неустанно намываю кисельные берега, наращиваю удои, возделываю ниву, чтобы было чем насытить страшный голод. Весь мир – моя кондитерская фабрика, мой скотный двор, моя пажить.

Маленького человека я поставил в центр мироздания, как предмет внимания, поклонения и заботы, как священную скотину, к которой не только нельзя подойти с хлыстом, но нельзя даже тронуть за вымя. Маленькому человеку я сказал, что не зазорно жить в доме великого, есть его хлеб и при этом держать кукиш в кармане, считая хозяина и все его ценности дерьмом. Только так он сохранит себя, маленького. Маленький человек – сладкий улиям.

Я спутываю дары, перетасовываю их, как карты, чтобы человек обманывался, плутал, искал и не находил. Я помечаю пути соблазнами так, чтобы человек никогда не обрёл себя в своей жилке, влип в паутину суетной зависти и до конца дней сводил мелкие счёты. Тогда он мой, и в развязке я слижу его слёзы.

Я разделяю вещи на пустяки и начала, хотя они так не делятся – всему есть место, всё важно, всё нужно. Я даю шкалу величин, и всё становится относительным, потому что больше нет совершенного и абсолютного. Кроме моего абсолютного голода.

Я утверждаю, что мир прост. А раз мир прост, то и человеку незачем быть сложным. Став простым, человек отказывается от внутреннего усилия и перестаёт отличать долг от прозябания, просвещение от растрепанности, добродетель от греха. Такому не сбежать от моего языка.

Я внушаю человеку, что ему не нужны убеждения – довольно идей. Идеи размягчают и дают гибкость. Убеждения вставляют в человека штырь. Мягкие и гибкие угодны моей глотке.

Прежде закон писался на роду и был огнём начертан на изнанке век. И он был неизменен. Настолько, что из-под ног преступившего закон уходила земля. Но я точил устои и колебал умы. Я утверждал, что в новом всегда есть хотя бы одно безусловное достоинство – новизна. И мир не устоял. Я запустил в нём механизм измены. И человек теперь без понукания меняет бывшее на грядущее, зелёное на красное, большое на малое, сливает отстой и ставит у кормила бунтарей и отщепенцев. Но как только те взбираются наверх, от разреженного воздуха у них перерождается рассудок – борьба становится наукой удержания власти, бунтарский образ и порыв теряют покровы избранничества, выхолащиваются, ставятся на поток и делаются достоянием толп. Тут раздаётся шелчок, и маховик моей фабрики запускается снова. Теперь человеку всегда есть что ломать. Зуд вечного неудовлетворения получает выход во внешней перестановке, а не во внутреннем переустройстве. Так в чане бурлит мой улилам.

Я похоть делаю хребтом натуры и только в ней принуждаю видеть истоки всех движений нрава и души. Тогда мужчина влечёт женщину лишь потому, что ведёт себя так, будто у него три члена. Тогда женщина начинает нравиться мужчине за пышную грудь, потому что та похожа на ягодицы – ведь всё, что по-настоящему интересует человека, расположено ниже пояса. Эти – всегда мои. Узрев могилу, они испустят всеми порами обильный нектар.

Я развращаю человека – предлагаю ему разъять неделимый мир и погрузиться в омерзительную разъятость, где можно всё, всем и без усилий и где каждый волен иметь собственное мнение. Ведь я говорю, что истин много, и человек, смиряясь с несколькими, изменяет единственной. В разъятом мире разъят и человек. Разъятый человек пригоден в пищу.

Я объявляю, что часть важнее целого и слагаемое имеет ценность, превосходящую ценность суммы. И целое умирает, потому что его живые части отказываются от него. Сойдя со своих мест и озаботившись собой, они прямиком покатались в давящую моего голода.

Я позволяю человеку знать, что желающий завоевать мир отправляется в поход налегке. Но выступившего в поход я нагружаю по пути обозом чепухи: приятелями, обязательствами, домохозяевами, банковскими кредитами – и он не доходит до цели. Тяжёлый человек даёт хороший фарш.

Я говорю, что свобода – это когда женщина может заключить брак с бурундуком, а мужчина – с агавой. Люди слушают меня, оскверняют своё и чужое естество и сбиваются в толпы под стягами греха, уверенные, что обрели свободу. Толпа, вообразившая себя народом, – навоз моего поля. Он питает мой урожай.

Тому, кто жаждет порядка, я внушаю, что порядок – это неподвижность. В то время как порядок – это готовность отважиться на поступок и ответить за него. И человек бездействует, обращаясь в силос, который сожрёт мой скот.

У человека нет выбора, но я предлагаю ему выбирать, и в положении или/или он за редким исключением выбирает отступничество. Ведь я нашептал ему, что реальность ценнее грез, и убедил, что смысл есть лишь в том, что услаждает, и иной кары, чем жизнь, не будет. Этот выбор обернётся моей желанной пищей, когда под серпом жнеца пустоцвет взмокнет, испытав муку раскаяния.

Смех над искренностью любой веры – благодатный дождь над моим полем. Он сделает сочным моё лакомство.

Голодный дух, незримая воля, чистое её вещество, я – упадок и разложение, умирание и тлен, сам замысел о них. Молодость, взыскующая не идеалов, а карьеры, не смысла, а развлечений, не любви, а безопасного блуда; зрелость, ради сонного оцепенения отвергающая как уединение и молитву, так и путь славных дел; старость, отдавшая предпочтение безответственности перед мудростью и красящая волосы фиолетовым и зелёным – это моё. Их будет царство смерти на земле. Они – колоски моего хлеба.

Улилам волнует меня. Улилам – моё лакомство и то, что его обещает.



## Глава 5. Душ Ставрогина

### 1

Во сне Настя опять скакала, как заяц, увязший в рапид-съёмке. Впрочем, сегодняшний сон оказался немного определённое предшествующих: позади себя, бегущей, а потом тягуче, с провисанием подскакивающей, Настя ощутила тревогу и даже как будто краем того, что во сне тоже принято считать зрением, увидела надвигающуюся мрачную тень. Получалось, преследовала не она – преследовали её. Уже что-то. Но дело снова ничем не кончилось. Грёза не имела ни начала, ни финала, представляя собой вполне невинный фрагмент сюжета, в действительности, возможно, вполне осмысленного, законченного и жуткого, – кусочек холостого действия, исключённого из контекста, как та средняя часть струи, которую народный уринотерапевт Малахов предлагал лакать соотечественникам в качестве чудотворного эликсира молодости.

Настя знала, что сегодня утром Егор собирался встречаться с отцом, поэтому не стала звонить ему, чтобы по заведённой привычке поделиться поразившим её открытием: накануне Настя прочитала в каком-то – матового вида – журнале, обнаруженном на столике в парикмахерской, что, если разом утопить в море всех китайцев, уровень мирового океана поднимется на два сантиметра. Невероятно! И это всё. «Боже мой! – упав духом, подумала в парикмахерской Настя. – Нас в десять раз меньше... А если нас-то? Что же выходит? Всего два миллиметра?» О достоверности сведений (сомнений в них) у Насти отчего-то даже мысли не возникло. Потом она как будто позабыла о подсчётах, а теперь вспомнила вновь, и печальная арифметика болезненно уязвила хорошо развитое в Насте чувство национальной гордости. «Позор какой! – переживала она. – В космос летаем, а на деле что же?» Настя знала, что такое стыд, но иррациональный стыд перед Кронштадтским ординаром испытала впервые.

Ночью прошёл дождь. Жесть крыш была ещё мокрой, но под присмотром утреннего солнца кое-где начала уже просыхать замысловатыми пятнами. Настя жила с родителями в мансарде большого доходного дома (некогда, говорили, здесь была мастерская живописца, чьего имени история не сохранила), основательно поставленного на Офицерской улице лет с лишним сто назад, и из её окна открывался славный вид на питерские крыши, местами сияющие цинком, а местами крашенные красно-бурым и зелёным, на золотой купол Исаакия и шпиль Адмиралтейства, на купы старых тополей, вознесшиеся вдоль набережной Матисова острова, и на угрожающе поднявшиеся за Пряжкой гигантскими богомолами краны «Адмиралтейских верфей». Тут не захочешь, а обзаведёшься оптическим прибором для обозрения далее. Овеваемые балтийскими ветрами, крыши жили своей птичьей и кошачьей жизнью – голуби ворковали на карнизах, вороны разоряли их гнёзда, сбрасывая на панель плешивых полупрозрачных птенцов, кошки грациозно прохаживались между слуховыми амбразурами, а справа, наискось через улицу, каждое утро, если позволяла погода, две девицы в бикини (у одной был операционный рубец внизу живота, который, понятно, не хотелось показывать на пляже, другая – видно, просто за компанию) стелили на горячее кровельное железо подстилки и, сняв лифчики, ловили стойкий сероватый северный загар. Ну а сегодня на одной из крыш в левом секторе обзора Настя увидела рискованно стоящие прямо на покатоj жести возле мансардного окна, в паре метров от неогороженного, нависающего над ущельем Офицерской карниза, небольшой стол и три стула. Бокалы на кренящемся столе были наполнены чем-то бледно-розовым. Вероятно, вчера вечером на крыше пили красное вино три приятеля-скалолаза (варианты: три ангела, три Карлсона), на дне бокалов чуть осталось, а ночной дождь разбавил опивки. Или не так... Два смертельных врага устроили здесь прихотливую дуэль – сидели

друг против друга и благородно – вровень – пили, ожидая, у кого раньше выйдет из строя вестибулярный аппарат. Третий был секундантом. Расквашенное тело, вероятно, соскребли с тротуара ещё ночью. Если бы не восьмикратная оптика старенького армейского бинокля, оставшегося от прадеда, Настя не разглядела бы цвет влаги в бокалах и не расплела эту историю.

«Наверху жизнь другая», – подумала Настя. И тут же, вспомнив недавний разговор с Егором, себя одернула: «Какая?» Широкая, вольная, упоительная, солнечно-голубая? Чёрта с два! Решительная, жёсткая, смертельная, закрученная вихрем, каждый миг грозящая падением. И... всё же упоительная.

От жизни наверху, на крыше, Настя легко совершила омонимический скачок в иную плоскость. Егор говорил, что прежде власть означала для облечённого ею тела вхождение в такую область, переход в такое яростное пространство, где за всё надлежало платить самую высокую цену. Именно так – платить по самой высокой ставке и без торговли. Плата жизнью и даже погибелью души предполагалась здесь по умолчанию, как основное правило игры. Власть и жизнь были чем-то вроде неразлучной пары – упускаешь одно, следом тут же теряешь другое. И наоборот: готов ответить жизнью – значит, достоин власти. А если нет – прозябай среди блаженных и покорных жителей равнин и не включай тщеславие. Гарантии покоя, тихой старости, законная защита прав владения и жизни – всё это оставалось там, в нижних ярусах бытия, и именно тот, кто стоял на вершине социальной иерархии, гарантировал этим ярусам их права. Но сам он владел лишь одним правом – властвовать. И это право давалось ему безо всяких гарантий. Настя, как почитатель естественных наук, и сама это знала: там, на вершине, стоило чуть-чуть ослабить хватку, замешкаться, дать слабинку, как тут же новый молодой вожак ломает твой хребет, рвёт в клочья твоих отпрысков и имеет твоих самок. Наверху судьба требует от избранника напряжения воли на пределе возможного. Но вот до чего Настя не додумалась, так это до анализа траектории спускающейся планки, что так легко и ясно описал Егор. Мир мельчает, притворно заявляя, что возвеличивается и растёт. С его мельчанием гарантии покоя распространились и на тех, кто держит власть. В результате власть утратила сакральность – тот завет, что неразрывно связывал воедино престол и жизнь. В рамках профанического служебного государства Государь потерял величие и превратился в банального милостивого государя. Теперь, не отвечая за свои решения и поступки жизнью, чем ему ответить? Цена вопроса так упала, что власть дающему за ней и наклоняться лень. На нижних этажах, там, где гарантии облегчают слабому труд мирного существования, у человека ответственность одна – отношение соседей/сограждан/современников и (редкий случай) потомков: тебя либо помянут при случае добрым словом, либо за своё ничтожество ты обретёшь презрение, какое обретает глупо пошутивший хрен. Теперь это стало потолком ответственности и для вождей. Бр-р-р... Пакость какая. Ужасный век, ужасные...

И точно в этот миг, когда Настя сама, словно пробитая электрическим разрядом, вздрогнула, вспомнив смертельный опыт Катенькиного реального театра, резко запела мобилка.

На розовом экране чернела метка: «Тарарам».

– Привет. Случайно нет Егора рядом? Его труба молчит – отключена или вне зоны.

Настя предположила, что Егор в метро, и рассказала про родительский день.

– Как объявится, скажи, пусть мне перезвонит.

Настя сказать обещала, осведомившись: что случилось?

– Я понял, в чём там было дело... Ну, в музее Достоевского. – Тарарам замешкался. – То есть... Словом, я нашёл... – Трубка опять затихла.

– Что? – прервала Настя таинственную паузу.

Рома молчал.

– Что нашёл? – повторила Настя.

Тарарам не то собирался с духом, не то подыскивал слова – и то и другое было ему совершенно не свойственно. Не свойственно настолько, что Настя заволновалась. Наконец из трубки вытек низкий, значительный шёпот:

– Я нашёл душ Ставрогина.

## 2

Перестук колёс в вагоне метро обычно настраивал Егора на музыкальный лад. Ритмический рисунок, заданный стыками стальных рельсов, он мысленно оплетал басами и гитарными ходами и так же, в воображении, самозабвенно пел под этот аккомпанемент что-то соответствующее и чудесное. Будучи человеком совестливым и не лишённым вкуса, спеть прилюдно въяве он, увы, не мог.

Егор не раз интересовался у знакомых, о чём они в жизни больше всего сожалеют. Ответы были не то чтобы разные, но, скорее, вариационные – менялся орнамент подробностей при сохранении основы: кто-то досадовал о так и не выученном итальянском, кто-то о том, что до сих пор не был на Камчатке, кто-то терзался из-за упущенной в былом добычи, кто-то – что не родила второго, кто-то сетовал на слабости тела, не способного вечно оставаться юным, упругим и резвым, а кто-то – что судьба не была к нему благосклонна и он не умер вовремя, молодым. Егора не удивляло, что никто из опрошенных не раскаивался в потаённом грехе и никто не был угнетён сволочным мироустройством (понятное дело: говорить о подобных вещах непросто), его удивляло, что все сожалели о не случившемся, в то время как сам он сожалел о невозможном. Потому что больше всего на свете Егор переживал по поводу того, что никогда не сможет спеть как Меркьюри или Бутусов. А спеть так, увы, он не мог ни при каких обстоятельствах.

Отец сегодня был сентиментален, вспоминал молодость, расспрашивал о планах на грядущее и в результате дал Егору «на поддержание штанов» больше обычного. В метро, уже возвращаясь домой (он жил на Казанской) с далёкой станции «Ломоносовская», Егор сначала тепло и немного грустно думал об отце, потом под слаженную ритм-секцию колёс и рельсов великолепно спел что-то, не слышимое за пределами пространства его грёзы, а после вспомнил о Насе. Он вспомнил о ней нежно – бережно разворошил память и разбудил голос, взгляд, улыбку, прикосновения, запах волос, милые словечки... И эта легкая кутерьма взвилась в нём так, что томительно сжалось сердце. «Как нежны мы в разлуке и как остро чувствуем на расстоянии...» Но тут же Егор нахмурил брови, ужаленный скверными воспоминаниями о нескольких уже случившихся между ними нелепых ссорах, вызванных его неуступчивостью или рискованными остротами. «Какое свинство, – думал Егор. – Сам виноват, а признаться в этом не позволяет ослиное упрямство – что за дрянной характер! Вот где „подлая славянская кровь“, о которой писал Леонтьев... Казалось бы, чем большая нужда нам послана, чем больше, испытывая, давит нас судьба, чем больше бед нам сядет на загривок, тем трепетнее следует лелеять и беречь те редкие источники тепла и света, которые дают нам силу вновь дышать полной грудью и смотреть судьбе в глаза. Так нет же – надо всё на дерьмо свести! А тут ещё высовываются разные дяди и тёти и говорят: мы дадим вам либертэ и эгалитэ. А зачем русскому человеку либертэ и эгалитэ, если он Настю сберечь не может? Он и либертэ на дерьмо сведёт...» Слов нет – Настю надо было сберечь. Но как бороться с торжествующим упрямством и гордыней? Что делать с постоянной готовностью не стоять за ценой там, где дело не стоит полушки? Как быть с этой взрывной смесью безответственности и чести?

На «Площади Александра Невского» Егор пересел на другую ветку и покатил к «Садовой». Встреченная в переходе цыганка – за подол её юбки держался смуглый чертёнок – дала неожиданный толчок развитию мысли: «Но ведь и потакать им во всём никак нельзя. Эволюция русского феминизма привела в итоге к торжеству „цыганской семьи“ – теперь уже считается

нормой, когда муж дома шурует по хозяйству, а жена-добытчица зашибает деньгу и содержит домашних. По существу, женщина теперь проблему полной чаши решает так, как раньше это делал мужчина». Егор принялся мысленно анализировать семейные обстоятельства приятелей и их родни – счёт получился где-то пятьдесят на пятьдесят. На это бы Настя непременно сказала, что и в прайде охотятся в основном львицы... И тем не менее. Мир менялся. Он менялся постоянно и всё время в худшую сторону. Возможно, это лишь обманчивое впечатление. Возможно, не только отдельным людям, но и целым историческим сообществам свойственно романтизировать своё прошлое...

Настин звонок настиг Егора на эскалаторе станции метро «Садовая». История про два китайских сантиметра произвела впечатление. В ответ Егор спросил Настю, о чём она в жизни больше всего сожалеет. Та задумалась.

– Знаешь, – наконец сказала Настя, – в детстве я мечтала быть красивой, как Виолетта из седьмого бэ, жить вечно и иметь неразменную денежку. Теперь мне смешно вспоминать об этом. Потом я хотела, чтобы материя, стихи и время были послушны моей воле. Теперь мне страшно представить, что бы из этого вышло... Пожалуй, больше всего я сожалею о том, что никогда не сыграю на скрипке как Яша Хейфец. Ты слышал, как он исполняет рондо каприччиозо Сен-Санса? Душу бы заложила!

Возможно, Егор когда-нибудь и слышал. Но только не знал, что это рондо каприччиозо Сен-Санса и что его исполняет Яша Хейфец. В список его увлечений скрипка не входила, и на слух он, вполне вероятно, не отличил бы Ойстраха от Ванессы Мэй. И всё же... В детстве он мечтал быть атлетом, как Женя Лобода, чьи родители арендовали каждое лето полдома по соседству с их съёмной дачей в деревне, выходящей вдоль одноимённой реки, и очень хотел иметь в кармане шапку-невидимку – ведь она, если подойти к делу с фантазией, способна решить едва ли не любую проблему. А теперь вот хочет петь, как не может петь никогда и ни за что на свете... Совпадение?

– Ерунда, – сказал Егор, – чушь собачья.

– Балбес. Ты просто в скрипке ничего не понимаешь.

– Я не про скрипку. Я про то, чтобы душу заложить. Дьявол – не утильщик. Лакома для него лишь душа праведника. За каким лядом ему покупать то, что, по всей видимости, если не уведёт добычу Божья милость, и так достанется ему без дополнительных усилий? Нужно всего лишь чуток подождать... Нет, порченный заклад ему не нужен. Душа должна быть – первый сорт. Без гнильцы, пролежней и складок. Тогда он за ценой не стоит.

– Уел. Не наша тема... Мы, помнится, с тобой даже в Страстную пятницу грешили. – Настя озорно хохотнула в трубку, но тут же спохватилась: – Да, Роме позвони. Он путанный какой-то. Сказал, что в музее Достоевского душ нашёл. Волновался сильно – тебя искал.

– Какой душ?

– Не знаю. – Настя уже хотела думать совсем в другую сторону. – А почему Бог дрянь не покупает, чтобы душа за хорошую цену обелилась? Типа, Я тебе по жизни устрою радости плоти и воплощение смелых замыслов, а ты за это живи по совести, а не по лжи, ближнего люби и под молотки не ставь, в храм Мой ходи на праздники великие, двенадцатые и вообще, когда захочешь, а кроме того, молись от сердца, крестись троеперстно, посты держи и блюди заповеди. Ну то есть почему так не наладить, чтобы не только жизнью вечной воздавать, а чтобы и здесь, в земной юдоли, что-то обломилось?

– Мерзость говоришь. Подкуп – орудие дьявола. Купился – пропал. И потом, свобода, как учат нас мудрецы древности и Рома Тарарам, только в нестяжании. Всё остальное – цепи. Нажил, украл – сторожи.

– А любовь? – тихо спросила Настя. – Любовь ведь – не цепи. Пусть Бог меня тобой наградит, хоть я и овца... заблудшая. Здесь наградит. Авансом. А там, глядишь, я и до жизни вечной подтянусь...

У Егора замерло сердце. Потерев зачесавшийся глаз, он хмуро пробурчал сквозь вставший в горле ком:

– Уже наградил.

### 3

Встретились на Владимирской площади, у бронзового Достоевского. Егор пришёл первым; пока ждал Рому, оглядывал пространство. Широкий приступок постамента облюбовали шумные живописные бомжики с двумя бутылками пива на пятерых. На золотых крестах собора, слава которого не изнашивалась, играло солнце. А вот недавно поставленная рядом с Владимирским пассажем и придавившая дом Дельвига аляповатая тумба с венцом ротонды на крыше, наоборот, как родилась уродом, так всё и пыжилась, и надувала щёки, подспудно ощущая себя самозванкой в подтянутом и строгом окружении. Ей бы впору зарыться в землю, как клопу в ковёр, да насосалась инвестиций – бока мешают...

Возникший из пустоты Тарарам молча, ничего не объясняя, словно заговорщик, повёл Егора к музею.

Из распахнутых дверей Кузнечного рынка тянулся наружу смешанный аромат зрелых фруктов, какой, бывает, витает на летнем вокзале, когда у платформы останавливается и выпускает на перрон привезённый люд симферопольский или кисловодский поезд. За стеклом виднелись ближние ряды, где торговки в медицинских халатах помешивали поварёшками в пластмассовых ведёрках белейшую сметану, предлагали снующим туда-сюда хозяйкам отщипнуть на пробу творог от больших влажных творожных бляmb и поправляли разложенные на прилавке домашние сыры, добиваясь какой-то ведомой лишь им пространственно-сырной гармонии. Следовавшие далее цветочные ряды богато, тучно, томно выглядели лишь на скорый взгляд – куда им было по разнообразию сортов и нежности оттенков до славной «Незабудки»... На углу рынка Егора с Ромой чуть не задавил какой-то бес в тюбетейке, толкавший перед собой железную тележку с сетками молодой – по времени, должно быть, краснодарской или ставропольской – картошки. «Ужо тебе, Мамай слепой!» – погрозила ему клюкой шаркающая рядом старушка.

Возле прямка перед дверями музея-квартиры писателя Достоевского Тарарам остановился.

– Понимаешь, – сказал он, почему-то бледнея, – пустота пространства мнима. Ну, то есть там, где оно кажется нам пустым и проницаемым для взгляда, в действительности пустотой не пахнет. И дело даже не в невидимых пульсациях и волнах... Дело в том, что у мира сущего, у мира, каким мы его знаем, есть изнанка, и она совсем, совсем иного свойства – неопишущего и почти во всём чужого. Впрочем, – поправился Рома, – про изнанку – это субъективно. Всё может быть не так. Мы, скажем, прозябаем на исподней стороне, а лицевой мир как раз размазан по другой поверхности всего, как толстым слоем крем по торту. При этом, правда, он всё равно для нас неведомый и страшный. Так что не важно, где тут жопа, где лицо. – Тарарам вновь сбился, не слишком, видимо, довольный своей путаной речью. – Хотя, конечно, важно... Но это после, не сейчас. Так вот, тот, инакий мир всегда скрыт там, на обороте пустоты, как мех на изнанке дублёнки, а бывает, что он, мех, пучком торчит через прореху в ней наружу. Или, чёрт возьми, если всё навыворот и это не тулуп, а шуба, то тогда снаружи – к нам, в мездру.

– Ну и что? – Егор не очень понимал, куда Рома клонит.

Тарарам нетерпеливо фыркнул и страшно выкатил глаза:

– Эту брешь в оборотный мир, оказывается, можно пробить силой страсти. И мы её... Пойдём. – Не договорив, он быстро повлёк Егора к музейным дверям.

В холле, перед гардеробной стойкой, за небольшим столом с одиноко обитавшим на пустынной столешнице железным ёжиком-пепельницей (из породы тех, советского ещё развода

ежей, чьё поголовье с годами не слишком убывало в виду их чрезвычайной жизнестойкости) дымил сигаркой крепко сбитый охранник в серой камуфляжной распятынке. Рома помнил, что его зовут Влас, что он живёт по часам, как адская машинка, каждое событие своей жизни сверяя с минутной стрелкой, и что устроился он на эту службу вопреки действующему учёту в психоневрологическом диспансере.

– А нас на улицу курить гонял... – укорил Тарарам стража.

– Так вас целый табор был, – с напускной ленцой пояснил тот, – а мне в одну глотку воздуха не закоптить. В поликлинике вон тоже всем велено бахилы надевать. А врачам ничего – врачи в уличном ходят. – Сегодня в десять ноль одна утра охраннику был голос, что днём он услышит пение пленённых ангелов. Он весь был в предвкушении.

Не удостоив больше цербера ни словом, Тарарам на правах своего свернул налево и, мимо лестницы, ведущей в квартиру классика, а потом через комнату с роялем, служившую здешнему заведению кулуарами, прошёл в зал.

Там было темно и беспричинно тревожно – Егор ощутил в окружающем его пространстве едва ли не материальное ступение чьих-то отделённых от сознания, подобно отброшенному шлейфу, волнений и чувств. Чьих? Теперь как будто бы уже и его собственных. Но это была какая-то бодрящая тревога, духоподъёмная, лихая, разгоняющая кровь, и заявляла она о себе так отчётливо, что щекотно шевелились на спине вдоль позвоночника волоски. Пошарив по стене рукой где-то справа от двери, Рома щёлкнул выключателями – раз и два. Свет нескольких софитов озарил черноту. Зал и впрямь был чёрен: стены, пол, узкий балкон вдоль задника сцены, радиаторы батарей, потолок, подвесная решётка-колосник из деревянных балок, на которой крепились софиты, – всё было чёрным. Похоже, замысливая этот монохромный дизайн, интерьерщик держал в уме глубоко вросшую в культурный обиход, прокоптелую, обнесённую бархатной сажей свидригайловскую баньку с пауками.

Тарарам целенаправленно прошёл в левый угол подразумеваемой сцены, задрал голову и, то отступая на шаг в ту или иную сторону, то приседая, то прикрывая глаза козырьком ладони, принялся что-то высматривать над головой.

– Отсюда и не видно совсем, – наконец сказал он. – Встань-ка у выключателей, а я на балкон поднимусь.

Скрывшись в боковой двери, через минуту Тарарам, с невесть откуда взявшимся фонариком в руках, появился на балконе.

– Гаси свет, – повелел он.

Егор послушно надавил на клавиши выключателей.

Если б не бледная полоска на полу, тянущаяся от приоткрытой двери в зал, ощущение слепоты было бы полным. С балкона в потолок косо ударил луч фонарика и заскользил по решётке из стомиллиметрового бруса, что-то нащупывая в её крупных чёрных ячейках.

– Ну, что там? – Егор по-прежнему не понимал, зачем темнила Тарарам привёл его сюда и что хочет ему здесь показать.

– Подойди-ка, встань под балконом, – зачем-то понизив голос, точно боясь спугнуть присевшую на цветок бабочку, сказал Рома.

Егор, испытывая внезапное волнение, медленно, с необъяснимой осмотрительностью двинулся в сторону светившего в потолок луча.

– Вот тут, подо мной встань... правее, – глухо командовал Тарарам. – Видишь?

Сначала Егор не понимал, куда именно смотреть, а главное – что следует в этом световом тоннеле увидеть, и вдруг, невзначай склонив голову, – увидел.

Под потолком, метров двух не доставая до пола, висело, зеленовато переливаясь в свете наискось бьющего в него луча фонарика, какое-то бесплотное марево. Оно не то слегка колыхалось, не то дрожащий луч, проникая его, создавал впечатление лёгкого трепетания, но первым ощущением, испытанным Егором при взгляде на прозрачную занавесь, было ощущение

текучести этой невещественной субстанции, как будто вода струилась по поверхности бутылочного цвета стекла, никуда, тем не менее, за пределы его не стекая. Ничего подобного Егору прежде видеть не доводилось. Он протянул было руку к струящейся завесе, но тут же в приступе леденящей тревоги её отдёргнул. С опозданием устыдился собственного малодушия – «всё неизвестное кажется нам опасным», – однако повторять попытку не стал, поскольку теперь действие выглядело бы надуманным. Потом Егор сдвинулся вбок и обнаружил, что сияющее отражённым светом драпри пропало. Вернулся на прежнее место – вот оно, тут как тут. Занавес оказалась практически плоской и с ребра совершенно не видной. Егор, охваченный странным, переполняющим его и уже почти неуправляемым возбуждением, опять протянул руку, и ладонь, объятая на миг зеленоватым сиянием, прошла сквозь марево беспрепятственно. Холодное дуновение быстро просвистело сквозь тело Егора, колыхнувшись напоследок в мозгу лёгким головокружением.

– Что за чёрт? – встряхнулся он. – Что это?

– Душ Ставрогина, – тоже с заметным волнением в голосе ответил сверху Тарарам и, не уточняя, распорядился: – Я подсвечу, а ты, давай, обойди вокруг. Ну, там, осмотри, замерь – опиши, так сказать, явление...

– Как описать?

– Как первооткрыватель. Как Пётр Кузьмич Козлов описывал Монголию и Кам. С естественнонаучной точки зрения. Размер, форма и так далее. Ну, или вот, скажем, как грудь женскую. Знаешь, бывает, она как студень – её пальцем тронешь, она колыхнется. А бывает – маленькая, тугая и жирная, точно у нерожавшей свинки. А ещё бывает – красивая и упругая, как у Катеньки. Или вялая и пустая, будто тряпочка, будто вывернутый карман на джинсах... – Похоже, Тарарам знал, о чём говорил. – Давай, словом, действуй, а то у меня нервы ни к чёрту...

Поколебавшись, Егор приступил к делу.

Минут через семь выяснилось: в свете направленного под определённым углом на объект луча фонарика, тот (объект) представляет собой прозрачное, беспрепятственно проникаемое, зеленоватое вздутие пустоты, внутреннее воспаление пространства, невещественной субстанции линзовидное тело (слегка расширенное в середине и сходящее на нет к краям), ориентированное вертикально вдоль зала и по форме представляющее собой овал (или эллипс – Егор точно не помнил, что есть что) порядка двух метров по большой оси и полутора по малой. Верхний край большой оси находится под потолком (кажется, немного его не касаясь), другой расположен на высоте около двух метров над полом. Вблизи объекта возникает чувство беспокойства, деятельного волнения без осязаемой негативной окраски (позитивное возбуждение, как у доброго пьяницы в предвкушении рюмки), при этом заметно упорядочивается мысленная активность, проявляющаяся в роении идей на фоне уверенности в возможности и даже необходимости их осуществления. Прямой контакт с объектом, произведённый посредством сквозного проникновения его кистью руки, вызывает в организме реакцию скорее психического, нежели физического свойства, выражающуюся в непродолжительном ощущении лёгкости, головокружительного парения, связанного с переживанием чувства «заднего хода» – будто бы кровь в жилах разом двинулась вспять. Вот, собственно, и всё. Замеры иных характеристик подручными средствами сделать не удалось.

В довершение обследования Егор отметил на полу прихваченным Ромой специально для такого дела кусочком мела положение висящего над ним объекта – на чёрных досках осталась полутораметровая белая черта.

– Почему «душ Ставрогина»? – спросил Егор. – Насколько мне известно, «Бесов» Достоевский писал в Дрездене. Уж если привязываться к месту и фигуре Фёдора Михайловича, тогда – душ Смердякова или Карамазова. Да и жил он не в подвале, а там, наверху. – Егор ткнул указательным пальцем в потолок.

– Душ Ставрогина – лучше. Николай Всеволодович такой резкий был, загадочный, с хюбрисом. Хотя это несущественно. Включи свет. – Тарарам перевёл луч фонарика на тумблеры возле входных дверей. – Суть в том, что этот зелёный язык – жало иного мира. Ну, или, если угодно – его грыжа. И влезть этой штуке сюда позволили мы – напряжением, волей и страстью нашего реального театра. Точно так же напряжением своего необычайного душего-рения мог пробить дыру в броне реальности и Достоевский. И пробивал. В Дрездене, на Сто-лярном, в Старой Руссе и здесь, на Ямской. Везде пробивал, где только запускал свой бого-данный моторчик творения. А у него был зверь-моторчик – тянул отлично и на малых, и на высоких оборотах...

Егор включил софиты, и грыжа иного мира исчезла. То есть она, по всей видимости, никуда не пропала, не вправилась обратно, а просто сделалась невидимой на свету, как делается невидимой тень в темноте. В конце концов, явление действительно выглядело всего лишь как пустота в пустоте, только у иномирной пустоты был, что ли, другой диапазон волны, другая частота вибрации, иная плотность бестелесного существования.

– По закону сохранения всего на свете, – сказал Егор, – если такая штука вздулась здесь, то и там, в зазеркалье, тоже должна образоваться грыжа.

– Пожалуй. Но оставим изучение этой гипотезы будущим следопытам, – решил Тара-рам. Он уже спустился с балкона и теперь стоял возле белой черты на полу, задрав к потолку голову. – А нам с тобой осталось совершить последнее усилие, и на сегодня хватит.

– О чём ты? – насторожился Егор.

– Тут есть стремянка. Надо на неё залезть и... омыться. Ну то есть пройти через этот душ. Прыгнуть сквозь него, что ли. Я бы ещё тогда это сделал, когда эту штуку в первый раз обнаружил, но в таком деле для объективного свидетельства нужен сторонний наблюдатель.

– Ладно, – чувствуя недоброе, поспешил застолбить роль Егор, – готов засвидетельство-вать.

– Раз уж мы вместе исследуем явление, – проявил несказанную щедрость Рома, – надо, чтобы и на твою долю что-то досталось.

– То есть ты хочешь проманипулировать мной и отправить в разведку как наименее цен-ного члена экипажа?

Тарарам посмотрел на Егора с обидой – непонятно, мнимой или непритворной.

– Какой ты всё же неприятный человек – сразу раскусил мой коварный умысел. Не знаю, право... А ты, оказывается, деляга, жук. Хорошо, бросим жребий, так будет по-честному. – Тарарам полез в карман и достал рублёвую монету. – Орёл – под душ становлюсь я, решка – ты.

Почему-то Егор не сомневался, что выпадет решка. Так и вышло.

– Судьба благоволит к тебе, дружок, – улыбнулся Тарарам, – самое время проявить реши-мость, – и скрылся в боковой двери под балконом.

Через минуту он уже устанавливал возле меловой черты высокую деревянную стремянку с обтрёпанной верёвочной стяжкой.

На этот раз Егор отчего-то не испытывал тревоги перед неизвестным – в конце концов, он уже давал лизать этому зелёному языку свою ладонь – внутри него царило воодушевление, волнующая готовность ступить за грань, поскольку он ясно чувствовал, что сердце его дове-рено могучей и бестрепетной руке, и всё зависит лишь от этой руки, способной одним ничтож-ным усилием превратить сердце в раздавленный ошмёток гладкой мышцы, а от него, Егора, не зависит уже ничего. Определённо это было новое для Егора состояние. Однако воля властво-вавшей над ним силы была милостива – Егор чувствовал это каждой светящейся корпускулой своего существа. Его вёл добрый ангел, добрый и знающий путь. Поднявшись по стремянке метра на два, Егор примерился, нашёл устойчивое положение и прыгнул в пустоту над белой чертой, как прыгает цирковой зверь с тумбы в охваченное пламенем кольцо.



Тарарам, державший шаткую стремянку, пока Егор сигал с неё в невидимую текучую завесу, отпустил лестницу и поспешил к товарищу, застывшему на полу в какой-то обезьяньей позе – присев и опершись в пол руками. Так замирает спринтер на низком старте.

– Ну? – нетерпеливо тронул он Егора за плечо.

Тот поднял лицо, озарённое счастливой, но при этом какой-то чрезмерной улыбкой. Тарарам заметил, как изменился взгляд Егора – это был взгляд свободного человека, никогда не попадавшего в рабство к обстоятельствам. Егор посмотрел на Рому так, как смотрят на старого друга после долгой разлуки – новыми глазами, отмечая перемены и вместе с тем наслаждаясь радостью узнавания. Потом, не меняя выражения, Егор поднялся на ноги и обвёл взглядом чёрный зал. Затем отступил назад, закинул голову и, не щурясь, долго глядел прямо в яркую лампу софита. «Дельфинизм... – пронеслось в мозгу Тарарама. – Люди-дельфины свободно смотрят на солнце, умеют без слов обмениваться сплетнями, способны на сверхчувствительность и могут пережить ядерную катастрофу...» Только он подумал так, как Егор вновь обернулся к Роме и, рассыпая свет своим новым, точно набравшим от светильника люменов, взором, бросился к нему с объятьями:

– Дорогой ты мой!.. Дорогой ты мой человек!.. Красота-то какая! Только посмотри! Сколько в мире тьмы и света! Сколько блеска и нищеты! Сколько дикости, кротости, греха и искупления!.. Как чуден мир твой, Господи! Как чуден!..

Тарарам смиренно стоял, сминаемый объятьями Егора, и, совершенно сбитый с толку, растерянно бормотал:

– Ну ты, брат, полегче, полегче... Медведь, ей-богу... Что ж ты, дружок, чумовой такой сделался...

Но Егор уже отпустил его, отстранился и, вдохнув полной грудью, вдруг запел – открыто, самозабвенно и завораживающе. Рома и предположить не мог, что Егор способен так петь. Несмотря на чуть сипловатый тембр, голос был полон серебра и небесного звона, лился уверенно и чисто – то вкрадчиво, то сильно, то накатывая волной и вознося, то мягко опуская вниз и покачивая в сетях навеваемой наяву грёзы – будучи отнюдь не безупречным, он попал в самое сердце, свивался там в беспокойный клубок и помимо воли будил в обретённом гнездилище восторг и нежный трепет. Голос переливался, менялся, жил – тёк мягко и упруго, как водяная струя, жидко и вязко, как мёд или густое масло, он исходил от Егора как сияние, сочился сквозь поры его тела как неудержимая плазма...

Тарарам слушал, приоткрыв рот, и не мог избавиться от наваждения. Да и не было, не могло быть такого желания – избавиться, – потому что желанно было именно слушать, ловить эти чудесные волны, сливаться с ними в одно томительное колыхание, поскольку и сам человек по своей природе не более чем волна...

Сколько так продолжалось, Рома не помнил. Потом он услышал за спиной шорох. Повернул голову – в дверях стоял охранник Влас с лицом мечтательным и ясным. Непонятно зачем Тарарам улыбнулся охраннику, тот непонятно зачем улыбнулся в ответ. И вдруг песня оборвалась. Рома обернулся – Егор, закатив глаза и содрогаясь всем телом, лежал на полу, и изо рта его с хрипом выходила белая пена.

Мигом стряхнув морок, Тарарам бросился к Егору. Он повидал мир, и мир порой жестоко учил его: Рома знал и попробовал многое. В детстве он состязался с приятелем Лёней, кто дольше просидит на одном месте – ведь это самое трудное для ребёнка, – и всегда пересидивал товарища, несмотря на то, что Лёня был на год старше. В светлой речке Луге он руками ловил в норах налимов и, завернув в лопух или облепив глиной, пёк их в раскалённом песке под костром; а если в норе сидел рак – было больно. В Берлине он спасал героинщика от overdозы с помощью лимона, мокрого полотенца и льда. В Амстердаме он ел сухой корм «педигри» и консервы «левиафан бланшированный в масле». В Невеле он видел, как взъерошенный галчонок подпрыгивал и склёвывал с переднего бампера машины разбившихся лакомых насекомых. В

музее Арктики и Антарктики он залезал с девушкой Дашей в палатку папанинцев, и без суеты, никем не тревожимые, они выпивали там принесённую с собой бутылку вина. Он знал, что владение иностранным языком совершенно не мешает человеку быть ослом, что если счастья становится много, то оно начинает горчить, что если солнце смотрит на грязь, то и людям не пристало от неё отворачиваться, но и становиться свиньёй в большей степени, чем того требует лужа, в которой ты сидишь, тоже не следует. Словом, Тарарам не растерялся. Выхватив из чехла на поясе складной французский «опинель», который всегда носил с собой, Рома сел Егору на грудь, придавил ему коленями руки и, разжав челюсти скошенным концом черенка, втиснул между зубов буковую рукоятку.

## Глава 6. Разговоры-2

### 1

– Вот оно – жало в плоть. – Катенька показывала распухший палец. История такая: дача, утро, оса прилетела выпить каплю воды с тычка рукомойника, Катенька не заметила – стала умываться и была осой уязвлена.

– Валидол есть? – уважительно осмотрел палец Тарарам.

– Был где-то...

– Таблетку в воде помочи и приложи.

– Поможет разве?

– От пчелиного яда помогает. Дед в садоводстве под Гатчиной пять ульев держал, я с ним рои на крыжовнике и яблонях ловил, роевню в баню ставил... Бабушка меня вот так – мокрым валидолом – и лечила.

– Оса – другой зверь, – сказала Катенька, но валидол в буфете нашарила. – Про Егора расскажи. Что за история?

– Синдром Достоевского – чудесная реализация желаемого. Пушкинскую речь помнишь? Публика слушала и рыдала, а текст читаешь – чёрные буковки. Хорошие буковки, правильные. Их на ус мотать, а не трясуном от них трястись. А тут какой-то массовый гипноз прямо. Интересная история. Вот только за свои слова и за этот массовый гипноз потом припадком отвечаешь. Если в одном месте прибудет, в другом аккуратно столько же убудет. Закон Ломоносова – Лавуазье о сохранении психического вещества в отдельно взятом человеческом космосе. Слышала, наверно.

– «Карамазовых» читаешь – так вовсе не только буковки.

– Книжки – другой компот. Но и на них от ставрогинского душа подзарядка идёт чумовая. С душем этим только рядом встанешь – и тут же в голове фреза на всю мощь врубается. Тогда весь мир со всеми его смыслами просекаешь и точишь из него, что захочешь. Главное, с фрезой в голове родиться. – Тарарам раскрыл ноутбук и вошёл в интернет с мобилки. – Барон, комедиант твой реальный, на этом сгорел. Играл по-честному, зал поплыл, как тётя Валя на вибраторе. Только Барон до финальной сцены дошёл, и тут – бац! – реализация желаемого.

– Ты что делать-то собрался? – Катенька возила мокрой таблеткой по уязвлённому пальцу. – Брось. Купаться пойдём.

– погоди. Спам-рекламу запущу и всё. На службе обещал. «Незабудка» с конторой одной на договоре – та почтовыми рассылками заведует. Гарантирован обход всех существующих на сей момент спам-фильтров и постоянная корректировка базы адресов. Поверишь ли, сейчас спам – самая эффективная реклама. Бублимир и мусору нашёл местечко в личных видах.

– А Егор что? Он ведь и не пел никогда. То есть без фрезы был, получается...

– Егор не просто рядом постоял, он сквозь душ прошёл. Та же история, что с Пушкинской речью. Если сквозь душ пройти, можно, видно, и с абсолютного нуля стартовать с нечеловеческой силой. Главное – хотеть очень. На всю катушку. Только, видишь, керосину ненадолго хватает. Надо этот вопрос исследовать и подвергнуть глубокому анализу. Вдруг метод есть растянуть своё могу на... Ну хоть на пару недель, к примеру.

– Почему на пару недель?

– За это время знаешь что успеть можно?

– Сбросить три кило без фитнеса, диет и китайской гомеопатии?

– Это – да. А ещё – изобрести печной двигатель на щучьей тяге, овладеть мастерством использования Корана в мирных целях, выиграть приличных размеров войну и размазать буб-

лимир соплёт по стенке. Проблема только в технике хотения. Чтобы не граблями под себя – хрустящие купюры, квадратные метры, красивые бабы, лошадиные силы, а горстями из себя – грандиозное дело, божественное мастерство, ангельское милосердие. Понимаешь?

– Понимаю. Особенно про баб. Ты лучше скажи, что делать. Мы же договорились: ты будешь придумывать, а я – бесподобно исполнять.

– Что делать? – Тарарам отправил файл с макетом рекламы («оформление летних беседок и веранд... ландшафтный дизайн... создание цветников и садов на крышах... метод контейнерного озеленения... наши специалисты никогда не позволят Вам пожалеть о том, что Вы обратились именно к нам») в контору по рассылке спама. Он не стыдился своей лепты в деле торговли иллюзиями: падающего – подтолкни. – Скажи, дружок, что будет, когда ты поплещешься в душе Ставрогина?

– То есть?

– Ну, чего ты хочешь? Чего ты хочешь так, чтобы за это не жаль было отдать палец?

– Какой палец?

– На первый раз, допустим, не самый нужный. Хотя бы этот. – Тарарам взял Катенькин распухший и пахнущий мятой мизинец, поднёс ко рту и неожиданно/страшно клацнул зубами.

– Ай! – пискнула Катенька, отдёргивая руку. – Без пальца некрасиво будет. Я ничего настолько не хочу, чтобы мне потом некрасиво стало. Палец дал мне Бог. Пусть растёт, где посажен.

– Ладно, оставим палец. Но хотеть-то ты чего-то всё же хочешь?

– Купаться хочу.

– Не то.

– Черешни и эклер с заварным кремом.

– Не то.

– Лапку тридцать шестого размера, а то тридцать девятый – как-то не гламурно.

– Ну не то же.

– Тогда – какой-нибудь прикольный люксовый паркетник вроде «кайена», и пусть с неба ежемесячная рента капает, чтобы рассекать где хочешь по всем Европам и в ус не дуть.

– Дружок, но ведь это и называется – граблями под себя. А в детстве? В детстве ты чего-нибудь хотела?

– Хотела. В косички бантик сюжурюлевого цвета. – Катенька обиделась. – Иди ты в жопу со своим хотением. Вот этого под душем и пожелаю. И пойдёшь тогда в жопу как миленький.

– Серьёзно сказала. Ну? Теперь поняла, что тебе делать?

– Что?

– Калоша ты, Катенька, а не Шумахер, и мать твоя – покрывало.

– Ты не прикалывайся. И маму не тронь. Ты прямо говори. Что делать?

Рома вышел из программы и захлопнул ноутбук.

– Запоминай: оттачивать, оттачивать и ещё раз оттачивать свой тупейший инструмент желаний.

## 2

– Не надо толковать мои слова так вольно. – Егор меланхолично переключал на дистанционном пульте телевизионные каналы. – Если я говорю, что здесь немного жарко, я вовсе не имею в виду, что мы уже в аду. Ад, пожалуй, должен быть ещё ужаснее. Здесь тревога иногда оставляет нас, а в аду, как в дурном сне, тревога будет терзать нас постоянно.

– Как же тогда тебя понимать? – Настя поглядывала на Егора с опаской, будто того цапнул клещ, и она теперь старалась подметить в поведении любимого признаки энцефалита.

– Я не говорил, что пел. Когда я пою... когда я пытаюсь петь... этот процесс должен называться каким-то другим словом. Не знаю каким. Нехорошим. Дело в том, что у меня нет голоса. Или слуха. Или того и другого вместе. Совсем нет. Если то занятие, которое называется неизвестным мне плохим словом, оцифровать и попытаться уложить в ноты, на выходе всё равно получится писк замученной птички. Следовательно, Роме только показалось, что я пою. То есть он слышал не то, что неизвестно как называется, а мою внутреннюю песню, – Егор обозначил голосом соответствующее выделение, – которая на самом деле бывает чудо как хороша, и я это знаю.

– Но там ещё был охранник.

– Он тоже слышал внутреннюю песню. Будь там хоть полный зал – все бы её слышали.

– Оставь, – попросила Настя – на экране телевизора разводил руками предсказатель погоды. – А что с тобой потом стряслось? Ну, я про падучую эту... Что врач сказал?

– Ничего путного. Я уже через полчаса отпрыгнул. Меня всего прошупали, простукали, прослушали, давление измерили, кардиограмму сняли, рентгеном просветили. Всё в норме.

Некоторое время сидели молча.

– Катенька на дачу зовёт. Родители её только на выходные туда навещают, а сегодня вторник. – Настя прижалась к плечу Егора. – Поехали, а? Там озеро, кувшинки, сосны. Там паук пьёт на паутине муху. Там ночью круглая луна с морями, полными бледной грусти... Что молчишь?

– Думаю.

– О чём?

– О веществе. Вот, скажем, дряни, пыли, мусора всякого не убавляется, и луна, как ты заметила, на месте. А материя жизни убывает. Что ты будешь делать! Вещество жизни испаряется, утекает куда-то. Кругом, куда ни плюнь, сплошная фантазия, призрачность – так что никто даже не утирается.

– И что?

– Понимаешь, без материи нет времени, как без времени нет истории. Время и история – это ведь такое специальное излучение, особое тепло, происходящее от трения событий друг о друга. А в нашем мире, где господит телевизор и прочие эфирные штучки, трутся друг о друга не события, а иллюзии. От этого трения на свет появляются Шреки, Ксюши Собчак и метросексуалы – такие, знаешь, ложные пидоры, – но не происходит тепла и истории. Иллюзии, призраки, наведённые образы – это же не вещество, не сущность. Вещество уходит из нашей жизни, и с его уходом останавливается история. То, что мы живём в эпоху ускоренного времени – тоже иллюзия. Ускоряется потребление грёз, а время затихает и тает. Когда оно остановится совсем, это будет означать, что остатки материального мира развоплотились окончательно. Тогда тела исчезнут вовсе, и голодные эфирные духи будут носиться в пустоте и неслышно скрежетать фантомными зубами. – После очередного нажатия кнопки на экране появился подиум с моделями, наряженными в высокую моду. – Тощие какие, измождённые... Об них же уколоться можно. – Не нравятся? Это же иллюзии. При трении материи об иллюзию не уколешься.

– Как сказать. Дурная материя нашего мира стирается об иллюзию в дырку.

– А если бы они были настоящие? Тоже бы не понравились?

– Нет. Женщина должна быть... ну, если не мягкая, то упругая.

– А я какая? – Настя ощутила в животе холодок, поняв, что ответ Егора на этот вопрос для неё важен.

– Ты правильная. У тебя есть небольшой, совсем малюсенький подкожный слой клетчатки. В самый раз. А у этих... как будто бабушки не было. Бабушка бы такой страх увидела, сразу бы пирожки в дело пустила.

– А ты что, не знаешь? – радостно спросила Настя.

- Что не знаю?
- Да не прикидывайся. Девушки в модельных агентствах сначала заполняют анкеты.
- Ну?
- А какой там первый вопрос?
- Какой?
- «Есть ли у вас бабушка?»

### 3

– Бублимир устанавливает свой закон, и его исполнение обязательно для всякой обитающей в бублимире твари. Поэтому, коль скоро мы готовы бунтовать, нам следует держаться вместе, проявлять заботу, своевременную ласку и не то что безрассудно, но с большим умом и тактом помогать друг другу. – Тарарам решительно притормозил у светофора, и машину заметно повело влево. – Надо колодки смотреть. Сносились, что ли, неравномерно... «Самурайка» с годами только крепче становится, но и ей, железяке бездушной, забота, уход и ласка требуются. Так вот. Неисполнение установленного закона строго карается. Мерзавцы, отказывающиеся потреблять иллюзии и стяжать эфемерные блага, квалифицируются стражами бублимира как дезертиры, перебежчики, предатели. – «Самурай» рванул с перекрёстка на жёлтый, точно Тузик за Барсиком. – А вот аутсайдер не опасен – он признаёт закон и прозябает в надежде однажды поймать за хвост удачу. Опасен тот, кто закон отвергает. Даже не отвергает, а надменно игнорирует, находя себе место не выше и не ниже закона, а вообще в ином пространстве. Словно в руинах эдемского сада, словно в другой вселенной – той, из которой к нам пролился душ Ставрогина.

– Ты куда-то спешишь? – Егор смотрел сквозь лобовое стекло в перспективу улицы Руставели.

– Нет.

– А чего гонишь?

– Вопрос некорректный. Всё равно что спросить женщину, почему она, когда красит глаза, обязательно открывает рот.

– Да, женщину об этом лучше не спрашивать, – подтвердила Настя с заднего сиденья, где с трудом разместилась, уперев колени в подбородок. – Особенно Катеньку. А то пошлёт.

– Стражи бублимира – это кто? – спросил Егор.

– Всякий, кто его закон признал. Такой негласный, молчаливый сговор. Все, кто приняли правила, – каждый червь, прогрызший себе ход в яблоке, каждый жук, подьедающий свой лист, – все видят в не исполняющем правила угрозу для корней своей яблони. В общем-то, совсем напрасно – определённо, эти корни нам не по зубам. Но при этом и ватные, безвкусные яблочки-листки здешнего сада нас не прельщают. Нам хочется пить нектар цветов другого вертограда.

– Какой высокий слог. – Настя поёрзала в своём тесном вместилище в тщетной попытке обустроиться. – А что – в здешнем саду нам никаких цветочков не осталось?

– Во-первых, в высоком слоге, как и вообще в поэзии, если мы будем говорить о поэзии, а не просто о словах, записанных в столбик, нет ничего дурного до тех пор, пока эта самая поэзия служит камертоном для образа мысли и образа чувства. Но если поэзия становится эталоном образа действия... Тогда – да, тогда – сливайте воду. Попробуй только человек устроить быт по образу высокой поэзии, выйдет форменная дрянь – пошлейшая пародия на жизнь за гробом. Взять хотя бы Тиё из Кага:

За ночь व्यюнок обвился  
Вкруг бадьи моего колодца...

### У соседа воды возьму!

Блеск! Но только для ума и сердца. А что там вышло на деле? Поверьте мне, зубру, выдававшему неприглядные виды и не щадившему устройство в левой стороне груди: пришла Тиё наутро после девичника к колодцу, а тут – вау! – выюнок на бадье. Душа её, конечно, встрепнулась, просияла, поскольку при лёгком, воздушном похмелье особенно пронзительно заточен взгляд. И сложилось улётное хайку, отлившее в иероглифе звон струной натянутого чувства. После чего Тиё с улыбкой умиления и светлой грусти подтянула рукава затрапезного кимоно, сорвала выюнок и зачерпнула воды для производства завтрака и орошения грядок. Думаете – нет? Тогда представьте-ка физиономию её соседа – выюнок, небось, обвил бадью не на день, а месяца на два, на три – до самой их японской осени... А если бы выюнок ступени крыльца обвил? Дверь дома? Что тогда? И жить – к соседу? А у него – жена и три горсти риса содержания, ему двух баб не прокормить. Такая же история и с Оницура:

Некуда воду из ванны  
Выплеснуть мне теперь...  
Всюду поют цикады!

Некуда выплеснуть? К соседу, дружок, к соседу! У него ни выюнка на бадье нет, ни цикад в огороде. – Тарарам, не снимая левой руки с руля, достал из пачки сигарету, сунул в рот и ткнул кончик в уголёк прикуривателя. – Во-вторых, что касается цветочков здешнего сада, то до тех пор, пока в мире царят мудозвоны, все цветочки творения, все прозрения разума и изделия духа, будут тошнотворно навязываться нам, как колбаса по случаю рекламной распродажи. А они должны дароваться. Понимаете? Да-ро-вать-ся... Оглянитесь вокруг. Родители уже покупают послушание детей и видят в этом веяние времени и благую поступь прогресса. А дети рассуждают так: «Лузеры родители? Несчастливая любовь? Измена друга? Чёрт с ними! Ещё тремя сентиментальными небылицами меньше». Да что там... Лето во всём своём великолепии пока ещё приходит к нам даром, а чуть рванёт вперёд наука, и привет – лето начнут нам продавать. За него начнут брать деньги, как за въезд на платную дорогу. А на бесплатной дороге будет вечная зима. Бублимир решительно не доволен тем, что на человека до сих пор то и дело обрушивается бесплатно какое-нибудь эдемское наследство. Рано или поздно он с этим безобразием покончит. И к гадалке не ходи. Хотим ли мы киснуть в мире, где прожито эдемское наследство? Хотим ли мы выгрызть норы в стандартных, лакированных здешних яблочках и подъедать глянцевые здешние листочки? Существует ли в нас ясность жизненных целей, или всё в нас подчинено одной страсти – пожиранию, стяжанию, зуду в загребущих руках?

– Подозреваю, как раз у мудозвонов с ясностью жизненных целей всё в порядке. Она у них есть. Что касается нас... – Егор на миг задумался. – То речь, вероятно, должна идти о бескорыстии и, следовательно, чистоте этих самых целей. Не так ли? Что ж, про ясность наших бескорыстных устремлений легко составить объективную картину. Вот мы сейчас на дачу едем к Катеньке, а могли бы отправиться в чёрный зал музея Достоевского и обнажить заветное желание. Ну то есть те могли бы, кто ещё не обнажал.

– Мы непременно так и сделаем, – выезжая с Руставели на Токсовское шоссе, заверил Тарарам. – Только в пятницу, когда в музее на вахту ветеран заступит. Он, я знаю, глуховат. А то мало ли что...

Под тентом «самурая» повисло понимающее молчание.

– Мне кажется, теперь женская очередь, – отважно заявила Настя.

– Согласен, – согласился Тарарам. – Только, думаю, Катеньку сейчас под душ пускать не стоит.

– Как нижний ярус иерархии? – улыбнулся Егор.

– Примерно так.

– Тогда почему – «сейчас»?

– Это я смягчил из деликатности. Вероятно, совсем не стоит.

– Эй, что за фармазонский шахер-махер? – встрепенулась Настя. – Начинали как песню: нам следует держаться вместе, проявлять заботу, ласку, руку помощи тянуть... А на деле – сговор?

– Это и есть проявление заботы, – сказал Егор. – Упреждающей заботы. Чтобы мне впоследствии не пришлось кому-нибудь из вас тянуть руку помощи. Роме – как Катенькиному мужчине, а тебе – как её лучшей подруге.

– Что ты имеешь в виду?

– Свойственное барышням Катенькиного склада ревнивое отношение к близким. Обойдёмся без подробностей. И потом, мы же согласны. В пятницу – твоя очередь.

– А что про Катеньку говорили? Как, интересно, вы её под эту зелёноструйную волево-площадку не пустите?

– Действительно, – задумался Егор. – Проблема.

– Если мы скажем, что ей не позволено, – рассудил Рома, – она бузу устроит и жизни нам не даст. Надо сделать всё наоборот – надо сказать, что именно у неё в пятницу в музее представление. Тогда она впадёт в мнительность, почует недоброе и спросит: «А почему не у Насти?» Мы скажем: «Так решили». Она скажет: «Будем заново решать». Тут ты, Настя, сперва упрёшься, потом поломаешься, а после, как на жертву, согласишься. Идёт?

– Так мы проманипулируем Катенькой, – меланхолично подытожил Егор.

– Детский сад, ей-богу... – фыркнула Настя. – Меня так в пять лет нянечка с морковным соком разводила. Только наоборот. Я его – не очень... Она поднос со стаканами на стол ставила и говорила: «Все берите, а Насте не положено». А сама отворачивалась и куда-то вроде по делу шла. Ну я, конечно, из вредности первой к стакану тянулась... Только соку всё равно на всех хватало. Ну а потом? – вернулась из детского сада Настя. – После меня? Потом ведь Катенька обязательно под душ захочет...

Егор и Тарарам молчали.

#### 4

– Родителей считаешь или только по нужде терпишь, как неизбежный крест?

– Терплю по большей части. А что, почитать надо?

– Надо, дружок, с этого общий долг начинается.

– Вот ты сказал, и я поняла, что ерунду спросила. Это ведь в студенческой курилке почитать родителей неудобно, а при тебе можно, ты не застёбёшь. Предки у меня суперские. Я маленькая была, они мне варёжки на батарее сушили, а на даче в полдник всегда молоко и тёплая булочка... Хочу на айкидо – пожалуйста, хочу на арфу – пожалуйста, жакет в арбузную полоску – да бога ради... Ничего для дочки не жалели. И никогда войны между нами не было, всё добром решали.

– А почему учиться за мзду пошла?

– В смысле за «мазду»?

– Не юли.

– Ну это же другое дело. Зачем мне их институты-университеты, если у меня никакой к этому делу тяги нет? Просто бзик у всех родителей – чтобы детки за каким-то бесом обязательно высокое образование получали.

– Выходит, учиться всё-таки пошла не из почтения к священной воле предков, а за корысть.



– Ну, знаешь... Я бы и без корысти пошла. Куда деваться? А «мазду» они сами предложили – типа приз. Между прочим, машина не новая была – пятилетка. Сальник в редукторе гидроусилителя подтекал. Мама всё равно себе другую брать хотела. И потом, сам же говоришь – мир поменялся. Не только дети поплохели, но и порог ответственности воли предков упал до плитуса. Порой у них уже не воля даже, а сплошь капризы.

– Ладно, родителей оставим.

– Что сразу оставим-то? Говорю же – почитаю. Чего тебе ещё? Ты сам-то, эльф цветочный, зачем мою маму покрывалом назвал? Я твою родню дурным словом не прикладывала, а могла бы...

– Остынь, дружок. Ты на вопросы отвечай. Родину любишь?

– Ну ты спросил! Не помню уже, кто последний раз так спрашивал... Тема неприкосновенная.

– Брось. Ты же не в студенческой курилке.

– Так это ж родина – лицом к лицу не увидеть! Бинобль перевернуть надо и посмотреть с удалением. Сейчас попробую. Сейчас... А что, любить обязательно?

– Общй долг.

– Люблю, конечно. Чего тут говорить.

– А зачем хотела ренту с неба и по всем Европам рассекать?

– Я же не насовсем. Так, оторваться немного, мир посмотреть. Ты-то посмотрел. А как наскучит – обратно. У меня насчёт их вялотекущей смерти иллюзий нет. В школе ещё Шпенглера с папиной полки брала. Не до конца, правда, прочитала... Страниц сорок всего. Словом, я так, на прогулку – вдохнуть музейной пыли, тлена истории и аромата увядания.

– А что тебе – родина?

– Серьёзно спрашиваешь? Честно говорить?

– Как умеешь.

– Морды эти казённые, людоедские ненавижу. Свору эту чиновную, лживую – неповоротливую до дела, шуструю до отката... Орду эту новую, московскую, все соки из собственной страны, точно из покорённой басурманщины, высосавшую, данью её обложившую на каждый вздох... Где у этой сволочи общй долг? Они и в родительский карман залезут, и местечко их прикупленное на кладбище под элитную застройку с подземной парковкой отдадут... Притом я ведь не анархистка какая-нибудь, кликуша-большевичка или хиппушка немая – сама-то я за власть сильную, потому что мне в доме порядок нужен. Чтобы мусор по углам не копился. Но за такую власть, которая вражинам – неприступная крепость и беспощадный бич, а своему народу даже в распоследнем медвежьем углу – заступница и мама родная. Умная такая мама, которая не захребетников бездельных растит, а деток с совестью, смекалкой и делом в руках, которая их на ноги ставит и всегда им в нужде поможет, случись беда. А если власть во всех своих подлых личинах сама народ до нитки обирает, в амбары врага добро ссыпает, которого своим не хватает, краденые да попиленные бабки на оффшорные счета уводит... В такой власти закона нет и покорствовать ей нечего. Родина для меня – не государство и власть. Родина для меня – земля и великий замысел о ней, незримое покрывало, ангелами этой земли сотканное из счастливых снов, тихих шорохов и вздохов ветра. Вот так.

– Молодец! Хорошие слова. Вот сказала их, и вся шелуха пустой тщеты с тебя слетела. Не ожидал.

– А почему так, знаешь?

– Потому что, когда говорила, ты чувствовала и выверяла чувство. Потому что говорила от себя и без понтов.

– Правильно. Потому что всё это я в своё время через вот это место пропустила. Через сердечко своё бестолковое, через пламенный мотор. А больше туда ничего уже не входит. Вот такое у меня небольшое сердечко.

– И того, что вошло, довольно. Радует меня. А об остальном...

– Что опять не так?

– Теперь, когда идея служения – не господину, не вертлявому закону, а идея служения во имя самого служения – более не востребована, на торжище иллюзий бублимира имидж вороватого чиновника, чья подпись стоит столько, сколько следует по таксе, прирастает к чернильному начальнику в миг получения должности. Называется: статусная рента. И в платье справедливости и попечения о благе паствы и земли, теперь, когда замысел о власти рассакрализован, непременно наряжается любая власть, какой бы людоедской, лицемерной и корыстной она на деле ни была. Сакральная-то власть в соображениях о земной справедливости не нуждалась, поскольку была промышленным вышним, и в беспределе своём являла не безумие, а гнев Божий. Что касается родины... На образ родины, достойной жертвы и любви, в меркантильном бублимире спроса нет. И хорошо, что ты сама его себе сложила. И хорошо, что вышел он такой – не базарный лубок, а как бы внутренний мандат, дающий право воплощать тот самый замысел о парадизе на земле, который пока только ангелам и тем, кто видит сны земли, открыт.

– Хвалишь, что ли?

Наконец неторопливая дачная очередь перед кассой в магазине рассосалась.

– Хвалю. И вижу в тебе толк. – Расплатившись, Тарарам – ш-ш-ш-шик! – открыл банку пива и протянул Катеньке. Вторую открыл для себя. – За сон земли!

– Чтоб сказку сделать былью, – с готовностью откликнулась Катенька и весело добавила: – А тем, кто будет нам мешать, сделать больно.

## 5

– А Бог? – Егор вскинул руки, и вверх полетели брызги. – Где место для Бога? Или я чего-то не понимаю в твоей концепции общего долга?

– Бог будет с каждым и в каждом по своей Божьей воле – не нам это решать. – Стоя по грудь в озере, Тарарам шурился на ослепительно синее небо. – Концепция общего долга для нас – то же, что конфуцианский кодекс для жёлтых Поднебесной или, скажем, бусидо для тех, в честь кого окрестили мою японскую железку. Это собрание жизненных установлений, свод правил поведения в быту, перечень норм взаимоотношений человека с человеком и окружающим его простором, доставшимся ему от тех, кто заплатил за этот простор такой валютой, которая конвертируется даже в мире духов. Скажем, духов стихий и гениев мест. Помнишь, у Киплинга:

Коль кровь – цена владычеству,  
То мы уплатили с лихвой!

Наши пращуры уплатили. Но поскольку поля, леса, горы, воды, небеса не человеком и не только для человека творились, то плата эта – лишь взнос за аренду. Как бы авансом. Однако после, рано или поздно, взносы придётся вносить регулярно. А если их не вносить, то духи стихий и гении мест бунтуют – тогда часть просторов мы просираем. – Рома опустил взгляд и положил перед собой руки на воду, как на жидкий стол. – Но вернёмся к общему долгу. Так вот, нормы эти, установления и правила нужно донести до всех, постепенно расширяя границы, в пределах которых они, эти нормы, становятся неписаным законом, потому что благодаря такому закону люди обретают путь к царству утраченной традиции. То есть общий долг как свод правил жизни – лишь инструмент для воплощения того идеального замысла об управлении землёй и людьми, воплотить который ни пращурам, ни отцам нашим покуда оказалось не по силам. Всё это вкупе – обретение закона и становление на путь – и есть общий долг. Беда

в том, что у меня не хватает слов, чтобы рассказать... чтобы сформулировать всё столь же безупречно, как я это внутри себя уже вижу.

– Всем бы так слов не хватало...

– Если бы я нашёл правильные слова, я бы давно остановил состав, я бы взорвал эти дьявольские рельсы, по которым мир скользит в мерзкое небытие, прикрытое, как дымовой завесой, цветной, мерцающей, надушенной, облитой лаком, сочно лоснящейся телекартинкой.

– В конце каждого пути, за исключением пути на дын, нам обещано благоденствие. Иначе хрен кого на этот путь наставишь. Неизбежное разочарование настигает в финале, но сейчас-то мы, как вещает дырка бублика, только выкруливаем на столбовой хайвэй. Как с этой точки показать принципиальную ошибку направления?

– Легко. Если совсем прописями и наглядно, то вот так. – Тарарам хлопнул ладонями по воде, и та заколыхалась. – Москва сейчас пытается на руинах подрезанной подлым ножичком и обескровленной, но всё-таки уже отползшей от края пропасти страны... Нет, даже больше, чем отползшей – поднявшейся почти что снова в исполинский рост... Словом, не изменяя правилам уже пованивающего бублимира, Москва пытается внутри себя, в отдельно взятой столице взрастить заповедник грядущего счастья. Там подновили ландшафт, деньги подгребли со всех окраин на нужды нескольких подопытных миллионов, дали этим миллионам работу, пристойные зарплаты и возможность свои зарплаты потратить, как только заблагорассудится. И что? Многие ли узрели горизонты осмысленной жизни? Многие ли уравнились и обрели душевный мир? Чёрта с два! Всё словно в прорву – мало, мало, мало... Ещё, ещё, ещё... Дают ещё. Но нет там эдемского сада, как не было – сплошной гниющий бублимир. Радости нет на лицах и смысла в делах. Ведь длинная воля хороша при наличии длинного смысла, а без него она так – пустое сумасбродство. И счастье там, в подопытной Москве, людей метит не чаще, чем в какой-нибудь приволжской и вовсе не тепличной Кинешме. Там светлых глаз, поди, даже побольше встретишь. Выходит, не в денежных потоках дело, не в зарплатах и способах их траты. Сам замысел грядущего не верен. Она тут вся – Москва. Она и есть венец беспутия – предательский маяк, зовущий всех плутающих на скалы.

– Да уж. Рядом с этим питомником даже красный проект – явление живого духа, хотя в нём и вовсе Богу не было места. То-то яйцеглавы забугорные уже в пятидесятых рванули из своего образцового свинарника духа кто в красные, кто в традиционалисты, кто в магометане. А нас вульгарно соблазняют будущим, которое у них случилось как бы уже сегодня или даже вчера и которое там, в Европе, им, то есть самым из них незашоренным, уже проело всю печёнку.

– Верно судишь, товарищ. Я на Европу поглядел – и сбоку, и снизу, и из самой серёдки. Нет там благодати. Одно лицемерие, отчуждение, равнодушие и самодовольство. Может, раньше и была – тысячу лет назад, – а теперь нет. Вышла вся. А ведь её, благодать-то, не то что ни съесть, ни выпить, ни поцеловать, её ведь и не купить нигде. Вот незадача. Она ведь тоже оттуда, из эдемского наследства, только даруется не всем подряд, как лето, а тем, на кого Бог пошлёт. Поэтому их там, в Европе, плющит и колбасит от того, что благодати нет. Потому что знают про неё, от верных людей слыхали, а им не дано. То ли дело у нас – остановишься у какого-нибудь заросшего пустыря в Адриаполе, где тлеет жизнь со скоростью земли, где за сплошным бетонным забором с металлическим лязгом, как цепной пёс, бьётся какой-нибудь механический заводик, посмотришь на родную срань, на людей нечёсанных и видишь в лицах... нет, не благодать, а словно бы предчувствие благодати, её близкий отблеск. Словом, тьфу на эту Европу. На родине надо быть и вытягивать её за шиворот из бублимирова болота. Зачем ей туда? Надо строить свой русский мир, который не часть другого, общего мира, а мир сам по себе, мир достаточный. Как шар внутри другого шара. Знаешь, есть такие китайские штуки, непонятно как сделанные...

– Вот вроде мы и выпили всего пустяк, – поделился соображением Егор, – граммов по двести, а говорим точно пьяные. Хорошо говорим. Как братья по вере в светлое будущее.

– Это нас водка догнала. Самое время для серьёзного разговора.

– А что касается Европы... Обратил внимание, как немцы испортились? Какую не свойственную своей нации жуликоватость демонстрируют? Одни недавно с частой сетью по нашим молодым учёным-спецам прошлись – патенты на кабальных и копеечных условиях скупали, как мелкие Соросы какие-нибудь, другие в ЖКХ наше сунулись, управляющую компанию затеяли и в год проворовались так, что у наших коммунальщиков только глаза на лоб... А Штольцы где?

– Я тебе вот что скажу. Только ты на меня не обижайся. Ты сам заметил, что толковые европейцы в пятидесятых от ужаса за голову схватились... Ну то есть не единицы, а словно бы целое поветрие, потому что единицы-то и раньше хватались. Так немцы, между прочим, ещё в тридцатых эту жуть, это фантомное небытие цивилизации прозрели. Вот тогда-то все честные немцы, все эти Штольцы, все эти энергичные рыцари прогресса, олицетворявшие маниакальный дух высоконравственного германского порядка, научно-технической организации жизни и щепетильного отношения ко всякому плёвому делу – вот тогда все они и записались в фашисты. То есть в национал-социалисты. Потому что это тоже был путь возможного спасения от ужаснувшего их видения – разложения мира в целом и деградирующего человека в частности, превращения их в гниющую слизь ещё при жизни. Потому что изменение мира в целом и человека в частности в сторону более целесообразной и разумной организации – это и есть кредо Штольцев. Вот только путь этот привёл в кровавую баню. И это закономерно – нельзя сделать человека, а тем более сверхчеловека, счастливым помимо его воли. Понятно, что теперь этих самых Штольцев днём с огнём не сыскать...

– А что же нам-то? И нам теперь в наики? Мне такой закос что-то не очень...

– Зачем? У русских нервы на разрыв крепче. У нас другой путь. – С этими словами Тарарам развёл руки в стороны, оттолкнулся от дна и округлым дельфиньим нырком, без брызг, скользнул под воду.

## 6

– Вот так давайте, – осенённый, поднял палец Тарарам. – Пусть каждый скажет, что такое для него закон. Только без растекания по древу, коротко, в каменном стиле. Что отзывается у вас в соображалке при этом лязгающем звуке – «закон»?

– Закон – это сила. Потому что сила есть право. То есть сила и есть закон, – сказала Катенька.

– Закон – это любовь. Всё, что любовь, и всё, что во имя любви – то закон. И нет другого, – сказала Настя.

– Мирской закон – лишь то, что помогает обрести спасение. Всё остальное – суета, бездушные параграфы и разухабистое беззаконие, – сказал Егор.

Рома покачивался в гамаке, ловя ответы правым ухом.

– А ты? Сам теперь говори, – сказал Егор.

– Нет никакого закона, – грустно улыбнулся Тарарам. – И не должно быть. Есть общий долг. Закон только в нём, и только он – закон. А без общего долга нет и не будет у нас ни силы, ни любви, ни – чёрт побери – спасения.

## Набрис

Набрис противен мне. Потому что всегда противно то, что губит твой труд, обманывает желания и обрушивает надежды.

На берегу реки пускает блесну рыбак. Шлепок. И чёрной молнией, быстрой тенью из коряжника выскальзывает щука. Бросок хищника – для рыбака нет зрелища, острее и сладоствней пронзающего ему сердце. Стремительный рывок, вскипает рассечённая вода. Щука взяла блесну. Подсечка – и рыбак выбирает катушкой слабинку. Щука рванулась, села на тройник. И начинается борьба. Рыбак, насквозь опьянённый страстью, то работает удилищем, то крутит катушку внатяг – он вываживает, изматывает добычу. Руки его от вожделения дрожат. А щука не хочет. Она не согласна уступать. Она увидела берег, рыбака и всё поняла. Она противится, рвётся с поводка, старается уйти в коряги и запутать леску. Большая, сильная рыба не терпит власти над собой. Но рыбак знает дело – он брал форель, и судака, и хариуса, и тайменя. Щука ему не соперник. Рыба сопротивляется, но она уже глотнула воздуха и помалу слабеет, воля к жизни постепенно оставляет её. Ещё немного, и она сдастся. Леска смотана, добыча уже на расстоянии удилища. Осталось подсачить... И вдруг под самым берегом щука изворачивается, сверкает жёлтым брюхом, свечой выпрыгивает над водой и сходит с тройника. Рыбак застыл, не может слова вымолвить, лицо его пятнает прихлынувшая от ярости и обиды кровь. А щука с разорванной губой уходит в омут.

Набрис – щука, сорвавшаяся с моего крючка. И то чувство, которое она, сорвавшись, вызывает.

Когда человек не хочет верить, что переоценивать ценности и отступаться от вчерашней правды – это хорошо и только так он сможет стать борцом за радостное обновление, носителем завтрашних мод, проводником передовых поветрий, другом целесообразности и разумного переустройства, я огорчаюсь. Мне неприятен такой упёртый хмырь. Раз ты сумел родиться, ты – моя добыча, жертва моих сетей. Опарыши соблазнов и живцы обольщений на моих крючках – твоя пожива.

Когда человек отворачивается от надежды пополам с толчёным стеклом, которую я насыпаю в его кормушку, мне делается скверно. Невежа! Такова твоя благодарность! Ты не узнаешь наслаждения и не растаешь от истомы. Да, мой корм распорет твои кишки, но без того что́ будет тебе о своей паршивой жизни вспомнить?

Когда человек отказывается быть зависимым от мнений окружающих и следом отказывается от собственного мнения, пленённый открывшейся ему единой истиной, я впадаю в ярость. Глупец! Твоя истина – леденец, петушок на палочке. Рассосёшь и с чем останешься? Всё, что у тебя есть – одежды мнений, и лишь они важны. Без них ты – голый.

Кто не стяжает богатства и славы, тот вызывает у меня изжогу. Тупица! Ты не испытал в жизни зависти, жара алчности и сладости обладания. Зачем же жил? Для чего заточил себя в келье аскезы, в лачуге скудости?

Кто отворачивается от искуса равенства и готов со смирением признать превосходство мудрого и сильного, тот будит во мне судорогу отвращения. Недоумок! Тебе милее быть булыжником в кладке здания, величие которого ты на себе несёшь, как горб, а не вольным червём в навозе мира и лёгкой перелётной мухой над его смердящей лужей. Во имя чего твоя жертва? Я всё равно разрушу единство кладки, сравню с землёй храм твоего мужества, а руины заселю лебедой и мышами.

Кто долг ставит выше удовольствия, тот виновен в разлитии моей желчи. Болван! Ты служишь не во имя своего преуспевания, а в угоду собственному упрямству. Ты со спокойным сердцем всякий раз, исполнив обязательства чести, остаёшься ни с чем. Что долг тебе, когда от него нет ни прибыли, ни потехи? Ты – посмешище для карасей, идущих на гулянку в мой весёлый невод.

Мир от начала был наполнен целыми вещами, которые вложил в него Творец, – теперь он завален осколками, как лавка горшечника, где порезвился лёгкий смерч. Это я, ветер перемен, истолок мир в пыль и кашу. Целого в нём почти не осталось, потому что целое не лезет в мою глотку. Другое дело – клочки, ошмётки, крошки, слизь. Осколки – улилам. Целое – набрис.

Улилям – когда один человек, глядя на другого, видит не человека, а схему, устройство, скелет. Например – застрявшую в детстве личность, чьи запросы были удовлетворены раньше, чем оформились, и которую душевная боль не заставляет размышлять над собственным состоянием, потому что у застрявшей в детстве личности страданию не от чего отражаться, так что в результате она может вызвать сочувствие, но не способна пробудить симпатию. Тот, кто так видит – скользкий налим, прикормленный лягушками из моего садка. Его печень уже принадлежит мне. Набрис – когда человек смотрит на другого и сердце его замирает от любви. Такой не даёт мне пищи. Но рано или поздно все крепости падут пред силой моего голода.

Я – всюду. Я продуваю всё. Моё дыхание – во всём, везде. Почти во всём. Почти везде. Набрис – место, где меня пока нет.

Место, где меня нет – враг мне, потому что оно занято Другим. Тем, кто не принимает меня.

Враг мне тот, кто собирает, вместо того, чтобы расчленять.

Враг тот, кто обретает свой дар и хранит ему верность.

Враг тот, кто постоянен вопреки рассудку. Кто осмеливается не лгать, не судить и не смеяться, когда хохочет хор.

Враг тот, кто противится тому, чтобы его судьба зависела от тени, которую отбросил на него я.

Враг тот, чьи желания не принадлежат мне, и кто находит удовлетворение, хотя я всё сделал для того, чтобы никто не был удовлетворён. Жажда потребления соблазнов в моём мире не может быть утолена.

Но и там, где меня нет, я скоро обрету пристанище – ячеи в моих сетях всё мельче, приманка на крючках всё искусительнее, блёсны всё ярче и завлекательнее. Мир – мой. Он расплылся в тающий студень. Кто сотворит новый мир, где меня не будет?

## Глава 7. Abeunt studia in mores

### 1

Под мостиком из двух еловых брёвен вытекавший из озера ручей смастерил неглубокую заводь, накрытую дырявой тенью склонённой ольхи, и там, в заводи, на дне, среди редких камней, припорошённых заиленным песком, ползали перловицы и на разный манер завитые улитки. У кромки воды на песчаной полоске, испещрённой мелкими птичьими следами и слюдяными крыльями расклёванных стрекоз, сидели крошечные лягушата, недавно сбросившие жабры. Две синие красотки порхали над заводью, ничуть не страшась предъявленной им стрекозиной судьбы.

С безотчётным любопытством Настя изучала эту заповедную делянку, любовно обустроенную местными карельскими духами, стараясь не пускать в мысли безрадостное, лабораторное и совершенно неуместное здесь, в этом светлом открытом мире, слово «биоценоз». С «биоценозом» сразу становилось хуже, всё вокруг словно бы тускнело и переставало дышать.

Как-то был случай – Настя увидела на улице вполне обычную и ничем, в отношении дизайна, не привлекательную кинетическую вывеску «Центр красоты и здоровья» с королевским венцом на крутящемся кругляше. Как правило, Настя не обращала внимания на подобные глупости, но тогда вдруг в сознании её что-то сдвинулось и ракурс сместился: она отстранилась от нивелирующего смысл контекста и представила, что это и вправду центр, что вся красота и всё здоровье мира действительно сосредоточены именно здесь, в стенах этого югендстильного дома, вот за этими дверями лакированного дуба, за этими окнами с трафаретным, имитирующим благородное травление узором на стёклах... Представила и рассмеялась нелепости заявленной в вывеске претензии. Почему так? Почему всё истинное непременно оказывается за пределами разговоров об истинном? Почему главное, самая суть каждый раз ускользают, оставаясь в стороне от русла проложенного к ним, казалось бы, напрямую мыслеток?

Но сейчас Настя не задавалась подобными вопросами, сейчас Насте было хорошо. Ей почудилось, что завеса приподнялась и перед ней открылся, дав наконец узреть себя, этот неуловимый, этот перелётный райский островок красоты и здоровья в унылом океане увядания, немоги и тщеты. Близкое дыхание чарующей благодати, таинственного источника вечной жизни пьянило Настю и делало её почти счастливой.

Постояв над заводью столько, сколько требовалось для того, чтобы хорошо запомнить вкус охватившего её дивного чувства, Настя развернулась и, довольная прогулкой, отправилась назад, к Катенькиной даче.

Впереди над самой тропинкой летела бабочка воловий глаз – так летела, словно спотыкалась о собственную тень. Под берегом озера на тихой воде, как сложный заводной механизм на пружинке, крутилась стайка вертячек. Возле кострища с двумя сгоревшими в уголь штакетинами, похожими на два куска чёрной крокодиловой кожи, Насте отчего-то вспомнился поэт, павший жертвой идеи нового театра – арены реальных страстей и реальной смерти. Большеротый пучеглазый юноша, очень похожий на гладкокожего налима, был забавный – самоутверждающийся и оттого на публике колючий, угловатый, дерзкий. Хотя по природе своей – Настя это хорошо чувствовала – он принадлежал породе тех кротких и деликатных людей, которые, прежде чем открыть холодильник, сперва вежливо стучат в дверцу. Настя попробовала вспомнить что-нибудь из его поэтических опытов, но ничего не вспомнила, кроме одного четверостишия:

Здравствуйте, собачки!

Добрый вечер, сучки!  
После зимней спячки  
Я пришёл для случки.

Прислушавшись к себе, к внутреннему отзвуку на эти строки, Настя ничего не услышала.

Казалось бы, после столь драматической премьеры (пусть подобная драма и входила в общий план затей) судьба реального театра предрешена, и он будет похоронен с Бароном в одной могиле, однако до Насти доходили слухи, что мясные художники, уже отошедшие от первого впечатления, намерены самостоятельно, без Катеньки и Тарарам, продолжить опасную игру и даже набирают труппу. Что ж, камень брошен, круги пошли. Надолго ли эта рябь смутит гладь и глянец постылой картинки? Вот именно – круги те, волнышки, не каждый и замечает. Надо, чтобы камни летели постоянно, как страшный град, как раскалённая шрапнель, как тысяча булыжников из тысячи пращей Давида... И надо, чтобы у людей, швыряющих камни, был особый взгляд, не допускающий сомнений в праве на швыряние, – открытый, бесстрашный, испепеляющий, взгляд свободного человека, а не раба ситуации. Тогда морок уйдёт, ад отступит, скверный дух будет изгнан из логова, и светлые живые воды промоют смердящий котлован. В этих новых обстоятельствах, вероятно, придётся поменять кредо – ведь жизнь тогда перестанет быть злой историей, и самому отвратительному случаться в ней будет уже совсем необязательно. Впрочем, думать о подобных вещах сейчас было явно преждевременно.

В посёлке Настя вспомнила о бренном, свернула к магазину и купила к чаю кусок сыра в крупную дырку. Готовить что-то серьёзное не имело смысла, поскольку завтра, в пятницу, на даче должны были появиться Катенькины родители, и сегодня днём Катенька намеревалась очистить территорию.

Все оказались на месте – сидели по углам, бродили по лужайке и, кажется, слегка скучали.

Тарарам настороженно понюхал сыр – так, должно быть, бактриан в Казахском мелкосопочнике обнюхивал свежие шпалы Турксиба, – после чего безошибочно определил: «Швейцарский». Егор, проведя всё утро с книжкой про вампиров, сочинённой автором, прославившимся своими руководствами по просветлению, вид имел учёный и немного сонный. Катенька сразу бросилась ставить чайник.

– Что там, в мире? – спросил Настю Егор, предпочитавший утренним прогулкам книгу с колышущимися на тёплом ветерке строками. – Солнце взошло согласно указу?

– Светило послушно воле Сына Неба, – доложила Настя. – Зато в остальном – полный бардак. Ласточки-береговушки на карьере гоняют кошку, а бабочки, лягушки и стрекозы ведут себя так, будто по-прежнему живут в раю.

Катенька взяла с подоконника сосланную на дачу рогатку, состоящую на вооружении у заморских рейнджеров, и со значением потрясла ею в пространстве: мол, мы покажем вам небо в алмазах, мол, мы устроим вам рай в камышах. Настя смотрела на подругу с тихой улыбкой, поскольку догадывалась, что стрекозы и бабочки с раем внутри рождаются и с ним же умирают, а люди рождаются без него, и потому в руках у них рогатка.

– Что там вампиры? – спросил Егора Тарарам, считавший чтение модной художки занятием почти неприличным. – Кровососят?

– Вроде того, – сказал Егор. – У этой книги как минимум есть одно безусловное достоинство. Обычно авторы упускают из вида политэкономия придуманного мира, а здесь она представлена во всех неприглядных деталях. Понятное дело, политэкономия – скучная материя, даже если попытаться придать ей фантастический характер. Порядок стимуляций, правила, по которым следует вводить в обращение и изымать из него денежные агрегаты, их эквиваленты и прочие деривативы – ничуть не увлекательнее правил изъятия из обращения конечных продуктов человеческой жизнедеятельности. Я имею в виду кладбища и нужники. Поэтому в мировой



литературе нужникам и политэкономии уделяется так мало места. Даниила Андреева, скажем, ничуть не волнуют экономические причины, заставляющие обитателей Скривнуса изо дня в день драить сковородки и метать уголёк в топку. А если задуматься – кто проверяет качество их труда, как он стимулируется? Урежут ли бедняге пайку, если он будет ленив и халатен, дадут ли увольнительную, если он проявит рвение? Точно так же невозможно понять движущие силы мира толкиновских орков, гномов и эльфов – политэкономия Среднеземья так и осталась ненаписанной. С учётом масштаба замысла это явное упущение. Зато с вампирами теперь всё в порядке. Где, когда, сколько, за что и почему – всё, вплоть до феноменологии этой нечисти, расписано здесь по мелочам. Взяться за такой неблагодарный труд хватит духа не у всякого.

Потом – «на дорожку» – пили чай. Рома густо мазал сыр мёдом, остальные просто клали дырявые ломтики на булку.

Перед отъездом Катенька организовала представление, отправив Настю к соседке за солью. В дачных закромах хватало соли, но у старушки Зои Терентьевны, возившейся в цветнике на соседнем дворе, был дурной глаз, так что ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы она видела, как Тарарам и Катенька уезжают на своих «японцах», и желала им доброго пути. Однажды она пожелала доброго пути Катенькиным родителям, и у отцовского «маверика» – небывалое дело – по дороге отвалился глушитель. Потом она пожелала доброго пути Катеньке, и у «мазды» ни с того ни с сего начал парить радиатор. А после того, как она напутствовала добрым словом Рому, у «самурая» на трассе вдруг открылся капот и со всей дури звезданул в лобовое стекло. Хорошо, что на раме откидного лобового стекла стояли резиновые отбойники, принявшие удар на себя. Словом, чудом обошлось без жертв. Зою Терентьевну необходимо было обезвредить – отвлечь и увести со двора. Настя справилась.

В итоге «японцам» удалось улизнуть незамеченными. Машины скрылись за поворотом и перед большаком остановились, чтобы дожидаться Настю с фунтиком ненужной соли.

## 2

Всякое общество любит определённую социальную роль. Поэтому актёра, пишущего маслом, и футболиста, сочиняющего в рифму, всё равно ценят лишь по основному ремеслу, а паразитарную страсть прощают или снисходительно отмечают, если те преуспели в главном деле. Ну а если не преуспели, то лучше бы им, бездарям косоногим, не писать, не сочинять и не рождаться вовсе. По отношению к тем, кто чувствует себя винтом, шестернёй или контргайкой социума, закон определённости неумолим.

Основным делом Катеньки на нынешней ступени её судьбы традиционно считалась учёба в Педагогическом университете. Однако сама Катенька Герцовнику придавала мало значения и никогда бы не стала судить ни о себе, ни о ком-то из сокурсниц по оценкам в зачётке, ибо главным – и в этом, пожалуй, заключалась её своеобразная асоциальность – в своей жизни считала любовь. Потому что женщина должна любить, к кому-то прислоняться душой – таково её первейшее призвание. Она даже немного позавидовала Насте, когда та на вопрос Тарарама заявила, что закон – это любовь. То есть о силе и праве Катенька сказала от сердца, но и про любовь могла бы сказать то же. Да и про спасение... Ей-богу, могла бы сказать и про спасение. Потому что любовь и вера – две исключительные вещи, посягающие на неприкосновенность души, а Катеньке хотелось, чтобы её душу трогали.

Однако в этих исключительных вещах в первую очередь она всё же видела эстетику. Что же до нравственного закона, то он неизменно шёл вторым номером. То есть он находился не за гранью окоёма, а в преддверии грани, на периферии сознания, отчего присутствие скрижалей постоянно ощущалось, но они не главенствовали и не давили. К примеру, Катенька могла бы

подписать под словами, что некрасивая вещь в принципе не может быть хорошей, но сказать такое о некрасивом человеке она была не готова. Хотя и ощущала внутренне, что в подобном заявлении есть немалая доля правды. Словом, жизнь для Катеньки по существу представляла собой сугубо эстетическое явление и в силу этого имела смысл. То есть именно эстетика и составляла означенный смысл, именно во имя неё и требовалось свершать деяния. Цель же деяний, наполняющих будни осмысленной жизни, – ладить эстетику из неэстетики, красивое из безобразного, конфетку из дерьма. Поэтому в голове Катеньки редко находилось место мыслям о том, что правильно или неправильно и каковы должны быть следствия её поступков, но было место представлениям о том, как должен выглядеть поступок и каким должен быть стиль жизни.

Высадив Настю на Офицерской, изуродованной стройкой второй сцены Мариинского театра и уже смастаченным на месте милого садика концертным залом с мощёным пустырьём перед ним и зелёными, как у нежити, головами русских композиторов над карнизом, Катенька покатила домой на Петроградскую. Город был забит машинами, и ей приходилось ползти в этой давке, словно жуку в крупе. Рабочий день, лето... Что делают на улице все эти люди в железных капсулах? Почему они не в тюрьме, не в садоводстве, не в присутствии, не в Анталии? Чёрт знает что... Но Катенька держалась и проявляла чудеса самообладания.

Когда она парковала «мазду» на Кронверкском, внимание её привлекла молчаливая толпа, заполнившая площадь перед Балтийским домом. Непорядок – стоит на три дня оставить город, как на твоей территории без твоего ведома и согласия начинают самозарождаться происшествия. Катенька не утерпела – она обязана была узнать причину сборища и вынести на этот счёт своё суждение.

Толпа по кругу обступала импровизированную арену, на которой работали уличные лицедеи. Изловчившись пробраться в первые ряды, Катенька узнала двух мясных художников, матерного поэта (того, что уцелел) и Ромину подружку Дашу, тоже успевшую увязнуть коготком в первом проекте реального театра. К этой Даше поначалу Катенька Рому даже ревновала, но потом оставила: ну было дело, посидела краля Мнишек царицею в Кремле, так за то и хвостом шаркнула в узилище. Других знакомых лиц Катенька не заметила.

Что комедианты разыгрывали, догадаться было нетрудно. Представление началось не так давно, поскольку Даша ещё только тащила с базара новоприобретённый самовар. Она была наряжена в зелёные джинсы и жилет (гобеленовая ткань с золотым узором – спереди, чёрный шёлк – сзади), а две хитросплетённые косички на её голове изображали торчащие в стороны сяжки. Роль самовара исполнял поэт, который, кольцом уткнув руки в бока, косолапил на корточках рядом с Дашей, державшей его под мышку, и убедительно пыхтел, как бы преисполненный клокоцущим в его утробе кипятком. «Приходите, тараканы, я вас чаем угощу!» – собственно, по этой Дашиной реплике Катенька и распознала действие.

Один из мясных художников принялся/продолжил декламировать авторский текст. Другой, таинственно кутаясь в длинную серую накидку («Должно быть, паучок», – решила Катенька), топтался среди зрителей. Тот, что декламирал, делал это на удивление нехорошо – с несвойственным внутреннему ритму стиха широким, неторопливым распевом, переигрывая в интонировании, растягивая финальные гласные в строке, как это заведено у глашатаев, объявляющих выход тушканчиков на боксёрский ринг. Впрочем, отчасти ужимки чтеца были оправданы той полупостановочной-полуимпровизированной, сляпанной из сплошного гротеска битвой, которую тараканы, бабочки, букашки, блошки и прочие козявочки устроили вокруг самовара и тут же появившегося вполне натурального угощения – сушек, лимонада, домашнего варенья и сгущёнки. Все эти твари набежали из зрительских рядов, до этого момента незаметно пребывая там в растворённом виде. Физиономии и руки лицедеёв вмиг оказались перемазаны, одежды растрёпаны, некоторые артисты даже повалялись с показным удовольствием на серой (гранит? диабаз?) брусчатке.

Даша в этой сцене вела себя чрезвычайно легкомысленно (как, впрочем, и другие самочки, но куда более аффектированно) – то висела на шее у одной инсекты, то пускалась в пляс с другой, то строила глазки третьей. Подошло время выхода паучка, но мясной художник в накидке по-прежнему стоял поодаль и даже рассеянно отвернулся от зрелища разнузданных именин в сторону набитого звёздными призраками планетария.



В конце концов Катенька поняла, что паучок – это вовсе не тот, на кого она подумала, а неизвестный ей сутулый парень в лёгком хлопковом свитере из числа набежавших на именины гостей, к которому Даша, посреди всеобщего разгула, как раз в этот момент совершенно непристойно липла. Определённо в режиссуре представления прослеживалась концептуальная мужская трактовка – муха сама соблазнила паучка, сама его, простофилю, в уголок... В целом, зрелище было бы даже забавным – перчик заключался в несоответствии авторского текста, декламируемого с нарастающим недоумением, и сценического действия, выстраивающегося в явном противоречии с хрестоматийным сюжетом, – не наследуй оно совсем другому замыслу. Куда более высокому и дерзкому. Замыслу реального театра.

Паучок был из робких – поначалу отбивался и вообще изображал отсутствие всяческого интереса к назойливой мухе, но Дашу это только заводило. Наконец, обостряя атаку, она растегнула златотканую жилетку и предъявила паучку средних размеров грудь (Катенька удовлетворённо отметила, что та была не налитой и упругой, а водянистой и мягкой, как абрикос из компота). Зрители оживились. Увидев тело, паучок точно очумел – бросился на Дашу, повалил и впился зубами в её левый абрикос так, будто и впрямь намеревался высосать хоботком из сердца именинницы всю кровь.

И тут наконец пробил час мясного художника в серой накидке. По существу, это был даже не комарик, а чистый Отелло, внезапно вернувшийся из командировки. Гости, изведавшие уже, видимо, на собственном хитине градус кипевшей в ревнивце дури, бросились врассыпную и вновь смешались с толпой, самовар в ужасе вылупил глаза и затаил дыхание, Даша изобразила оскорблённую невинность, а бедолага паучок, понятное дело, как, оправдываясь, ни кривлялся – вышел крайним. Вместо сабли орудием расправы с паучком комарику послужили поочередно: 1) скрытая под накидкой бейсбольная бита и 2) завалявшаяся в кармане с дедовских времён опасная бритва. Битой он сердягу отдубасил, а бритвой в несколько поставленных движений охолостил. При этом в руку комарику из недр рукава скользнула длинная белая редиска дайкон, которой он потряс над головой, как рыбак добытой из пучины рыбой.

Даша запечатлела на морде победителя дюжину алых (помада) поцелуев, из толпы, как из кучи древесной трухи, вновь повылезли на свет козявочки, и разнузданная гульба с песнями и плясками покатила дальше.

Катеньке всё было ясно. Благородная, опасная и уже в силу того только неординарная идея реального театра выродилась в фарс. Что здесь происходит? Полная ботва – площадной балаган дель арте пополам с режиссёрским театром Някрошюса. Всё дело сводится к трактовке пьесы самовластным постановщиком, к дешёвой или глубокомысленной (один пёс) клоунаде, жуликоватому передёргиванию авторского замысла. В стотысячный раз явлена древняя пошлость – самовыражение бездарности, неуважай-корыта за счёт ревизии Софокла, Гоголя, Островского, Шекспира, Гёте... Того же, будь неладен он, Чуковского. Словом, вот она, очередная победа зрелища над откровением. Словом, автор – говно, режиссёр – всё. Словом, вот оно, неунывающее: граждане, послушайте меня...

Катенькин диагноз был неумолим: чушь, вздор, мусор... И тем не менее её трясло от негодования. Измена идее, предательство вчерашних соратников были очевидны и требовали незамедлительной кары. Незамедлительной. Катенька с лицом, отлитым из чистого гнева, вышла из

зрительских рядов и, секунду выждав удобной позиции, с размаха засадила комарику, отплясывающему спиной к ней какую-то ламбаду, туфлей-лодочкой по копчику.

– Иди на хуй, козёл пиздопроёбистый! – сказала она подскочившему было к ней поэту-самовару и, подумав, добавила: – Извини, что не в рифму.

После этого удовлетворённая Катенька невозмутимо развернулась и, в облаке повисшего над площадью молчания, отправилась домой.

Abeunt studia in mores, сказал бы рассудительный схоласт. Действие переходит в привычку.

### 3

Невские бани, мимо которых два месяца назад шли голые люди на Семёновский плац, отгородили от улицы сплошным забором из гофрированной жести, и строители, работая покуда в режиме разрушения, понемногу уже крошили стены. Крошили необычно осторожно, бережно – так дети потрошат мину. Недавно в СМИ гремел скандал – на Литейном рабочие так нерадиво били сваи, что по соседству раскололся дом Мурузи.

Не то чтобы Тарарам сокрушался по поводу сноса Невских бань – нет, они были серыми, невидными и определённо не вписывались в каменную симфонию местности. Однако благодаря той же серости и невидности бани не подавляли эту симфонию и не слишком её уродовали. То есть уродовали, но скорее как брешь, как дырочка в красоте, а не как безобразный злокачественный нарост на ней. Рому удручала перспектива – то, что здесь возведут, наверняка и даже обязательно будет наглее, выше, глянцево-притёршихся за полтора-два столетия друг к другу зданий. Будет подавлять и уродовать, будет злокачественно нарастать.

За последние годы так уже случалось не раз. Не удовольствовавшись периферией, метастазы поразили Невский, Литейный, набережные Фонтанки, Большой и Малой Невки... То есть всё, что можно, и почти всё, что нельзя. Удивительно, как до сих пор не застроили Марсово поле и Летний сад – такие земли в самой сердцевине даром пропадают. Всякий раз Рому удивляла мотивировка разносчиков заразы: дескать, сносимые дома и застраиваемые скверы не имеют культурных заслуг и не являются историческим достоянием. Можно подумать, что возводимые на их местах деловые центры, элитные кондоминиумы и торговые стекляшки будут их иметь и ими являться. Можно подумать, что память людей, проживших здесь жизнь, встречавших здесь любовь и пивших здесь портвейн, ровным счётом ничего не значит... Но что больше всего допекало Рому в этой истребительно-строительной истории – в ней не было никакого пафоса борьбы, никакого величественного злого умысла, противостояние которому почёл бы он за честь. Всё глупейшим образом сводилось к мелкому болезненному желанию обогащения, которое постоянно теревит в человеке демон корысти – пошлейший из демонов. Не было никакого заговора против красоты – одно равнодушие и вздорная страстишка срубить по-быстрому бабла. А стало быть, в противостоянии нет смысла, потому что нет самого противостояния – есть всё те же разложение и тлен, охватившие уже всю ойкумену. Такой же тлен точил Петрополь Вагинова. Отличие одно: нынешнее разложение покрыто, точно камуфляжной сеткой, завесой приторного лоска – потребительского бума, мнимого благополучия, пустопорожней деловой активности, махрового веселья. «Нам ли не знать, – вздохнув, подумал Тарарам, – что такие декорации всегда утаивают под собой какую-нибудь гадость».

После полутора часов, проведённых за рулём, Рома был не прочь выпить. Егор тоже не возражал и даже, имея тяготение к анализу и синтезу, заметил, что у людей серьёзных профессий, связанных, как правило, с перемещением в пространстве (шофёры-дальнобойщики, гусары, моряки), в свободное от профильных занятий время бросаются в глаза две характерные склонности – готовность к выпивке и скоротечным интрижкам. Видимо, предположил Егор, первобытная стихия пути определённым образом формирует личность, оттачивая в ней

страсть к похождениям и авантюрам. Странствие из Токсово в центр СПб, конечно, не весть что... И всё же. Словом, дав время друг другу на то, чтобы принять душ и переодеться, Тарарам с Егором договорились встретиться в рюмочной на Пушкинской, и к назначенному часу Рома уже немного опаздывал.

В рюмочной, известной в городе собранием неимоверного количества настенных, по большей части неисправных часов и подаваемыми на закуску вкрутую сваренными яйцами, былолюдно, но вместе с тем хватало и свободных мест. Егор уже сидел на скамье за деревянным столом и то, что располагалось перед ним – графин водки, две стопки, два стакана с томатным соком и пара яиц, – свидетельствовало о предстоянии собутельника.

– Мы завязли, ещё не сдвинувшись с места, – без предисловий сказал Тарарам. Он устроился за столом напротив Егора. – Я именно это имел в виду, когда говорил в машине, что в России механизм всякой энергичной, жизнепереустройствающей идеи в относительно устоявшиеся времена тяготит проклятие холостого хода. Впечатление такое, будто все мы подавлены инерцией тяжёлого русского бездействия. Или неподъёмным русским покоем. Кому как нравится.

– У меня похожее ощущение, – признался Егор, подвигая к Роме стопку с колыхнувшейся в ней водкой и стакан с густым и оттого неподвижным соком. – Мы размахиваем руками, а сами по пояс увязли в болоте. Что твой парад голых, что реальный театр – всё это похоже на жесты отчаяния, посылаемые в пространство узниками трясины. Жесты эти имели бы смысл, если бы мы уже были свободными и умели ходить по топи бублимира легко и беспечно, как водомерки по воде. А мы не умеем. Потому что не знаем – зачем? Сначала должно сложиться ядро, ясно осознающее, чего оно хочет, и не обременённое кандалами вещественной зависимости. Этакая шаровая молния, гуляющая сама по себе. Осмысленные действия – после.

– Верно. Особенно про кандалы и молнию. – Рома бросил в стакан щепоть соли – не найдя чем размешать, достал из чехла на поясе «опинель», раскрыл и разболтал сок лезвием. – Однако и разговоры наши тоже как будто бы идут по кругу. Тебе не кажется, дружок? – Тарарам посмотрел на Егора, но тот, должно быть, счёл вопрос риторическим. – Всё верно, сперва, конечно, нужно стать свободными, однако перед тем чётко осознав мотив – во имя чего.

– А мы не осознаём, ведь так?

– Мы знаем только то, что хотим жить иначе. Не идейно, не экономически, не конфессионально – цивилизационно иначе. Иначе во всём. Хотим жить в единстве с миром и заключённой в нём бездной. Но не по банальной модели экологов, поскольку те отводят человеку на земле место гостя. А мы – не гости. Мы – первые в сообществе равных. Поэтому, подходя к лесу, мы говорим: «Здравствуй, лес-батюшка», а завидев муравейник, кричим: «Здорово, мужики!» И когда убиваем змею, мы стараемся, чтобы кровь её не попала на хлеб, потому что если змеиная кровь попадает на хлеб, хлеб стонет. И в этом иначе деньгам мы отводим совсем другое место. Потому что деньги – это стыдно, это неприлично, этого не должно быть... – Словно бы оспаривая Ромины слова, игровой автомат в углу зазвенел, изрыгая чей-то выигрыш. – Короче говоря, мы хотим жить в русском мире, осенённом покровом традиции. Но путь традиции пресёкся. Ведь традиция, как ты понимаешь, это не сохранение пепла, а поддержание огня. Вокруг же теперь один пепел. Мир век от века перерождался – как нам, перерожденцам, чудом сохранившим память об эдемском саде, выродиться обратно?

Тарарам в церемонном приветствии приподнял стопку и разом выпил.

– Вокруг пепел, – согласился Егор, по примеру Ромы разделавшийся с содержимым своей стопки, – а между тем ты говоришь об этом бодро. Как тот оптимист из анекдота.

– Какого анекдота?

– Ну помнишь – оптимист пишет в своём дневнике: «Сегодня был на кладбище. Видел много плюсов».

Усмехнувшись, Тарарам стукнул яйцо о стол и принялся колупать скорлупу ногтем.

– Нет, дружок, я не оптимист из анекдота. Я – реалист, стремящийся к невозможному.

Промокнув салфеткой красные от сока губы, Егор взялся за графин – самохарактеристика Ромы как-то по-особенному в нём отозвалась, что-то своё, уже однажды думанное, напомнила...

– Переустривать мир сейчас, – заметил он, – позволительно – если это ещё позволительно в принципе – только через власть. Почему ты не идёшь сам и не ведёшь нас туда – в рощи заповедных властителей?

– По той же причине, – вздохнул Тарарам и пояснил: – Путь традиции пресёкся. Но ещё прежде рассыпалась вертикаль общества традиции, выстроенная от человека к Божеству. Смысл и функции власти теперь не те, они уже совсем, совсем иные... Общество традиции устроено так: небо – местопребывание сил, направляющих рождение, смерть и судьбу всего сущего, а власть – лишь медиатор, звено в передаче тайны, посредник между сакральной силой и подданными. Первоначально власть была природно умна и сильна проводимой через неё небесной справедливостью. И, уж конечно, совсем не похожа на нынешние капища власти. Память о власти, как о звонкой трубе, в которую дует Бог, сидит у людей в подкорке. Именно потому наши нынешние властители столь ненавистны и презренны. – Тарарам потрогал свою вышитую бисером шапочку – на месте ли? – и закурил. – Нужно кончать с разговорами. Нужно сбросить оковы, которых на нас не так уж и много, и налегке заняться делом. Нужно выстраивать внутри разлагающегося труп бытия свой хрустальный мир – цельный, структурно организованный мир-паразит, крепко стоящий на забытых принципах. Ну а после, выстроив, мы невольно противопоставим его – небольшой, колющий, твёрдый – враждебному, студенистому, вопящему и негодующему всем своим необъятным телом миру смерти. – Рома подался вперёд, к Егору, и, понизив голос, почти зашептал: – А ведь если противопоставить крупицу осмысленной структуры бессмысленному раствору, то через какое-то время всё лучшее, цельное, здоровое притянется сюда, к нам, и на крупице нарастёт огромный блистающий кристалл, который, в частности, дарует смысл поглотившему универсум студню разложения, затопившему нашу жизнь раствору чепухи. Бывают времена, когда ничто не оказывается столь уместным и своевременным, как уже безвозвратно похороненная, казалось бы, в тёмных волнах лет архаика. Вперёд – к руинам эдемского сада!

Презрев хороший тон общественных едален, Тарарам макнул яйцо в солонку и вновь приподнял стопку.

Егор с удивлением заметил, что стрелки некоторых часов на стенах рюмочной вздрагивают и совершают шаг. «А оков у нас и впрямь немного, – подумал он. – Как в лёгкой, мечтами надутой юности и положено. Фатер-муттер, родительский кров, универ, планы на будущее – вот и все цепи. А любовь – права Настя – не кандалы. Любовь – ураган, срывающий людишек с якоря. Вперёд. Пока не поздно. Пока не закорился намертво. Пока киль мидиями не оброс». Егор вспомнил прошлое лето – свою первую самостоятельную поездку в Крым с парой университетских приятелей. Вспомнил довольных житухой воробьёв, которые, излучая в пространство щебет, расклёвывали на деревьях поспевшие вишни и абрикосы. Вспомнил обугленного солнцем татарина с новосветского рынка, дававшего своим дыням пятилетнюю гарантию («Такая дыня – пять лет помнить будешь!»). Вспомнил жука-оленья, сидящего – и как тут очутился? – на камне у Сквозного грота, – его едва не захлёстывала солёная волна, а он задира голову и грозно разводил чудовищные жвалы, извещая стихию о готовности к битве. Вспомнил медуз... Не тех что как грибы и парашюты, а тех, что похожи на прозрачные бутоны тюльпанов, по жилкам которых бежит, переливаясь и посверкивая, зеленоватый, сиреневый и фиолетовый свет. Такого чувства свободы, как тогда, в Крыму, Егор прежде не испытывал. В груди его сделалось небольшое приятное волнение. Уж так устроена память: тронул – и струна запела.

– Ты отворачиваешься от власти, а стало быть, и от политики как таковой. – Выпив, Егор с удовольствием поморщился и тоже принялся ковырять скорлупу. – И, безусловно, поступаешь

верно. Но чем наш хрустальный мир-паразит, вернее, его ядро, будет отличаться от какой-нибудь своеобразно радикальной партии, желающей построить царство берендеев на земле? Только тем, что мы не станем лезть с патологоанатомическими бреднями в дела гниющего социального тела? Но тогда чем мы будем отличаться от сектантов, проклявших белый свет и замуровавшихся в пещере где-нибудь под пензенской Погановкой? И потом, переродилась ведь не только власть, но и подданные. А что, – Егор указал пальцем в потолок, – если и там беда? Что, если переродились и силы неба?

– Хороший вопрос. – Тарарам прикинул мысленно, хватит ли в его кармане денег, чтобы заказать ещё один графин водки. Денег хватало. – Теперь – по порядку. Большевики и нацисты начали строить свои невероятные цивилизации через политику и в результате, вместо того, чтобы расчистить площадку, только добавили во вселенскую выгребную яму помоев. Самоудаление, добровольный вычет себя из переписи мира – тоже не выход. Потому что этот путь ничего не меняет за пределами того, кто вычелся. Хотя сам он, вычтенный, вполне возможно, и выясняет личные отношения с бездной. В ней самой, – повторив жест Егора, Тарарам ткнул пальцем в потолок, – в бездне, вряд ли что-то меняется. Я бледно говорю, путано – я это понимаю... Подобраться к заповедной тайне – значит принять бездну. Её невозможно постичь, измерить, вздрючить – а выродившемуся обезбоженному человеку хочется именно этого. Особенно вздрючить. Выродившийся человек считает себя философом и учёным. Учёным жизнью. Неспособный постичь, измерить, вздрючить, такой человек верит, что наука жить – это умение обходить бездну. И он совершенствуется в методах, в подделках под жизнь – обрывает делами, вещами, мелочными привязанностями, чтобы не жить, а как-то так, что ли, обходиться. А нужно другое. Нужно принять бездну, впустить её в себя, жить с ней, потому что суть жизни – бездна. Всё остальное – её обрамление. Существо бытия – небытие. Понимающий это и есть человек традиции. Просто человек, без рода занятий и социального ангажемента. Но дальше ему надо кем-то становиться... Понимаешь? Тут и возможен рост чудесного кристалла. Словом, радикально картину мира способны изменить не политика и не отважный эскапизм, а преображение. Примерно алхимического свойства. Феникс традиции сторел, огонь погас, остался пепел. Но Фениксу для возрождения довольно и пепла!

– Что-то я не очень... – Егор рукой описал в пространстве фигуру, которая могла бы означать непонимание, душевный подъём, замысловатое приветствие и вообще всё что хочешь.

– Человеческий мир, дружок, как и несовершенная материя, способен к трансмутации. Алхимия даёт нам здесь прекрасную метафору. Возможно, именно в состоянии разложения, своего рода расплава, разжижения, мир в наибольшей степени готов к тому, чтобы чудесно перевоплотиться. Социальное тело, составленное из человеческих атомов, подспудно жаждет преображения – нужен лишь мастер, бригада отменных мастеров Великого Делания, готовых вложить в это тело тинктуру и запустить процесс. И тогда человек-свинец – чем чёрт не шутит – вновь выродится в человека-золото.

– Шикарно! – вознёс наполненную стопку Егор. – А где наша тинктура?

– Общий долг, – сурово сказал Тарарам. – Общий долг – вот наша тинктура. И мы – его носители. Мы – агенты грядущего царства традиции, его империи, лёгкие и свободные радикалы преображения, ничем, кроме общего долга, не обременённые. И душ Ставрогина поможет нам в нелёгком деле осознания себя, в подвиге обретения общего долга.

Егор уже не мог сдерживать восторг:

– За общий долг!

– За яркое преображение!

Не сговариваясь, выпили красиво – расправили плечи, чокнулись, поднесли стопки к губам, опрокинули – всё сделали чётко, обоюдосогласно, как мастерицы синхронного всплеска. Между тем стрелки часов действительно вздрагивали – некоторые шли своим ходом, показы-

вая разнообразное и удивительное время, некоторые просто топтались на месте, будто караул разминал затёкшие ноги.

– Я хайку сочинил, – прожевав яйцо, сказал Егор. – Хочешь послушать?

Тарарам хотел.

– Слушай. – И Егор тёплым голосом, мягко, по-домашнему продекламировал:

Вот и опять Рома с Егором  
Мира судьбу решают.  
Тихое «дзынь»...

#### 4

Всё с Катенькой вышло так, как Тарарам и предполагал. Очередь идти под душ Ставригина осталась за Настей. Катенька, впрочем, изъявила категорическое желание на этом омовении присутствовать. Возражать никто не стал – сговор состоялся.

Старец в седых, до желтизны прокуренных усах, охранявший посменно с Власом культурно-историческую квартиру мастера петербургского текста, пустил компанию в чёрный зал без лишних расспросов, поинтересовавшись единственно: надолго ли? Тарарам, примерив на себя зачем-то роль опального Дона Гуана, с бодрой улыбкой стража успокоил:

– Дождёмся ночи здесь. Ах, наконец достигли мы ворот Мадрита!

Тугой на ухо охранник удовлетворённо кивнул.

В кулуарах, освещённых дневным светом из окон, помимо рояля, стояли два прямоугольных стола и несколько выдавших виды стульев. Проходя мимо, Тарарам прикинул что-то в мыслях и похлопал ближайший стол по деревянной крышке. Стол в ответ надёжно загудел. Егор поддёрнул за ремень висевшую на плече сумку и решил, что Тарарам думает в правильную сторону.

Проникнув в зал, Рома взобрался на балкон и по прежней схеме, с помощью фонарика и мрака, представил девицам явление – струящееся из ниоткуда в никуда объёмное марево иного мира. Те текучую завесу тоже сперва не разглядели, а после, прочухав, ахнули... Пока необычайно возбуждённые Настя и Катенька осматривали чудо, Егор отметил про себя, что вздутая зеленоватая линза несколько округлилась, хотя ещё и не потеряла овальной формы, спустилась чуть ниже и немного сместилась относительно некогда начертанной им на полу и до сих пор никем не стёртой меловой линии. Егора, как и в прошлый раз, охватило заметное волнение – бестревожное, но воодушевляющее, зовущее к действию. Возможно, волнение было даже более, нежели в предыдущий раз, волнительное. Грыжа, вылезшая с изнанки действительно, определённо претерпевала какие-то метаморфозы. «Если однажды она втянется обратно, – подумал Егор, – и в этот миг я буду здесь... Ну, то есть окажусь в ней, войду в неё – куда я денусь? Вправлюсь в иной мир с нею вместе? Интересно, какие там надои свиного молока?»

Нашупав в темноте прежде замеченную им у дверей зала, где он сбросил с плеча сумку, швабру, Егор положил её на пол под объект. Отошёл в сторону, поймал ракурс, посмотрел, так ли лежит, вновь подошёл и поправил, уточняя. Относительно прежнего положения линза сдвинулась в сторону балкона и слегка развернулась против часовой стрелки. От пола же её нижний край теперь находился ровно на уровне Егоровых глаз.

Удовлетворившись изысканием, Егор включил свет.

На этот раз Тарарам предложил действовать следующим образом: принести в зал два стола и поставить их друг на друга – так, чтобы Насте не пришлось прыгать с лестницы на пол, а осталось бы только взобраться на расположенные под, как она однажды выразилась, «зелёноструйной волевоплощалкой» столы и, преисполняя отваги, сделать шаг, решительно



пройти сквозь испытание чужой пустотой. Помимо удобства исполнения задуманного, в этом случае появлялась возможность задержаться и некоторое время провести внутри невидимого при включённом освещении инопространственного пузыря. Ну а Рома с Егором, взобравшись с двух сторон на стулья, Настю бы подстраховали...

Задерживаться в пузыре Настя категорически отказалась. А пройти... Ну что ж, она сама на это вызвалась, она пройдёт...

План был принят. Егор с Ромой принесли из кулуаров столы и, ориентируясь по ручке швабры, водрузили их друг на друга – столешница верхнего оказалась как раз на высоте Егоровых глаз, а лежащая на полу швабра делила конструкцию пополам. В целом архитектоника выглядела надёжной. По бокам столов поставили два стула, после чего у торца установили стремянку.

– Давай, – сказал Тарарам Насте, – дерзай. Ещё немного, и самое твоё заветное желание исполнится.

Настино лицо отчего-то было бледным. Тем не менее она решительно взобралась на стремянку и, сперва испытав место ногой на предмет его крепости, встала на краю верхнего стола – перед невидимой, бесплотной и физически как будто бы никак не ощутимой преградой. Рома с Егором быстро подхватили стремянку и расставили её возле противоположного края постройки.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.